«Каждый человек имеет право считать себя необходимостью истории...»

ГРАНИН

ДАНИИЛ ЧЕЛОВЕК НЕ ОТСЮДА

ДАНИИЛ ГРАНИН

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

В новой книге Даниила Гранина тесно переплелось художественное с документальным. История в этих текстах становится фактом частной жизни, а частная жизнь — фактом истории. И это дает возможность каждому читателю почувствовать себя включенным в *большое* время. Если в своих первых, ставших культовыми для нескольких поколений, книгах Гранин учит, как менять судьбу, то теперь он показывает, как следовать ей.

Даниил Гранин (р. 1919) — классик современной литературы. Его романы «Искатели», «Иду на грозу», «Зубр», эссе «Эта странная жизнь» и «Страх», повести «Прекрасная Ута», «Сад камней», «Месяц вверх ногами», «Дождь в чужом городе» — настольные книги нескольких читающих поколений. Уже в XXI веке роман Даниила Гранина «Мой лейтенант» стал лауреатом национальной литературной премии «Большая книга» (2012).

Д. А. Гранин — почетный гражданин Санкт-Петербурга, председатель правления Фонда им. Д. С. Лихачева.

- Даниил Гранин
  - ○
- notes
  - ○ 1

Даниил Гранин
Человек не отсюда

Человек не отсюда

Когда-то я написал очерк о Капице, приводил байки о нем, институтский фольклор. В его поведении было много необычного, своеобразного, человека, воспитанного Резерфордом и английской университетской жизнью. Публиковать не решался без его ведома. Только после его смерти я напечатал этот очерк. Позднее мне кое-что добавил Сергей Капица. По его совету я прочел письма Петра Леонидовича Сталину, Молотову и прочим начальникам. Поразительно, что существовала эта переписка одного из самых свободных людей России с ее деспотом. Она впечатляет. Отчаянно смелая, опасно-искренняя. Представить не мог, что Капица позволял себе и что позволяли себе сталинисты по отношению к великому ученому!

Всего Капица написал Сталину 49 писем! Сталин не отвечал, но когда Капица, не понимая такой невоспитанности, перестал ему писать, Маленков позвонил Капице и сказал: «Почему вы не пишете Сталину, он ждет новых писем». И переписка (односторонняя) возобновилась. Письма эти плюс еще 70 писем Молотову, свыше сотни другим небожителям — опубликованы. Увлекательное чтение. Личность Капицы предстает единственным в своем роде феноменом в годы Большого Террора. Безоглядно смелые, никакого поклонения, наоборот, он даже позволял себе поучающие сравнения. Осуждал действия высших чиновников, всегда конкретно, поименно.

Начиная с первого же письма 1 декабря 1935 года, с первой же строчки: «Товарищ Сталин». Ни тебе «Глубоко уважаемый!» или «Дорогой… Любимый…» и т. п. Никаких расшаркиваний, сразу к делу: информация о том, как за ним ходят агенты, о том, как его уговаривали написать, что он добровольно остался в СССР, не захотел возвращаться в Англию. Он не стесняется назвать такое извращение — свинством. Он пишет, что не привык к недоброжелательству, которое встречает здесь, в СССР. Письмо за письмом — обращение только «товарищ Сталин». Что бы он ни предлагал, за кого бы ни просил, то же сухое начало. Просил за арестованного академика Фока, замечательного физика-теоретика: «Арест Фока есть акт грубого обращения с ученым…

Таких ученых, как Фок, у нас немного», и дальше он сравнивает это с тем, как фашисты изгнали из Германии Эйнштейна. Пишет в 1937 году, в разгар Большого Террора. Спустя полгода он негодует по поводу ареста физика Ландау. И в том и в другом случае письма, как ни удивительно, — подействовали, ученых выпустили. С этого началось его противостояние Берии. Дальше пуще. Возмущенно приводит факты хамского отношения Берии к ученым, к самому Капице.

В одном из писем, дав уничтожающую характеристику Берии — невежде, мстительному, злому человеку, Капица тут же просит Сталина ознакомить Берию с этим мнением, он не хочет жаловаться за глаза, он готов к открытому разговору. Такого по отношению к всесильному чекисту еще никто не позволял.

Некий Суков, который тормозил метод производства кислорода, разработанный Капицей, был назначен заместителем Капицы по главку. Умышленно! Берия последовательно травил ученого. Мстительность помогала Берии сохранить лицо. Высокомерие Капицы было невыносимо его властолюбию.

Хочется думать, что Капица дал понять Берии «кто есть кто». Что на самом деле есть власть в сравнении с талантом. Даже та страшная власть.

Берия вызывал Капицу к себе через секретаря. Между тем, пишет Капица, когда было решено привлечь Менделеева к работе в Палате мер и весов, председатель правительства России Витте сам приехал к нему просить согласия.

В своих письмах Капица то и дело приводит исторические примеры. Он прямо указывает Сталину, что поскольку вдохновлять ученого деньгами нам не под силу, не то что в капиталистической Америке, надо хотя бы отдавать ему должное, как отдают Патриарху. «Это еще Бэкон заметил в своей „Новой Атлантиде“. Поэтому пора товарищам типа Берии начинать учиться уважению к ученым».

В 1949 году Капицу сняли с заведования кафедрой в университете за то, что он не был на заседаниях в честь 70-летия Сталина.

Его хотели выбрать в Президиум Академии наук, но в ЦК Суслов сказал, что надо воздержаться, и воздержались. Хотели сделать его членом Ученого совета Московского университета, и это запретили.

Берия вскоре добился своего, Капицу отовсюду уволили. Сняли с работ по кислороду, необходимых стране. Отменили присужденную Академией наук Сталинскую премию.

Конечно, Берия, в конце концов, Капицу бы упек. Сталин, хорошо зная своего сатрапа, предупредил: «Я тебе его сниму, но

ты его не трогай».

Пришлось отступиться. Капица лишился института и тогда устроил лабораторию у себя на даче. Институт и друзья ему помогали тайком, боязливо, он — опальный ученый, он — противник главного сатрапа. Ничего подобного в истории России не было. Он с сыном работал в сарае на даче и продолжал писать Сталину. Вероятно, Тогда это была единственная возможность уцелеть. Тон его писем Сталину не меняется, не появилось в них ни покорности, ни отчаяния.

В одном из писем Капица дает убийственную характеристику сталинскому окружению. «Товарищи Берия, Маленков, Вознесенский ведут себя в Особом Комитете как сверхчеловеки. В особенности тов. Берия. Правда, у него дирижерская палочка в руках… У тов. Берии основная слабость в том, что дирижер должен не только махать палочкой, но и понимать партитуру… Я ему прямо говорю: „Вы не понимаете физику, дайте нам, ученым, об этих вопросах судить…“ У меня с ним совсем ничего не получается».

Несколько раз Берия назначал принять Капицу, потом отменял. Похоже, как считал академик, Берия дразнил его, пробуя вывести из себя. Отношения становились все хуже. Согласие, заявлял Капица, возможно только на равных началах. Его нет. Капица заключает свое письмо просьбой: ознакомить с этим письмом тов. Берию, «ведь это не донос, а полезная критика. Я бы сам ему это сказал, да увидеться с ним очень хлопотно».

Он понимал, что лишь ухудшает свое положение, но что поделать, если он привык действовать открыто, не пряча своего мнения.

Капицу не только уволили из института, но закрыли и направления его работ, пошли на заимствования немецких результатов. Доказать пагубность такого решения он не смог. Его не слушали, не отвечали. Как будто он играл на скрипке перед глухонемыми.

В своих письмах Капица позволяет себе, казалось бы, недопустимое по отношению к «корифею всех наук», «великому учителю человечества», как только ни изощрялись ревнители культа: «Вот прошло 27 лет после революции, мы много построили, много освоили, а как мало своего крупного мы внесли в технику! Лично я могу назвать только одно крупное достижение наше — это синтетический каучук. Это достижение действительно мирового масштаба, тут мы были вначале впереди, но, к сожалению, сегодня нас уже обогнали и Америка, и Германия. Как мало мы сами чувствовали и чувствуем значение этого крупнейшего достижения! Академик Лебедев, пионер и

создатель, должен бы быть национальным героем, а он после поездки в жестком схватил сыпной тиф и умер в 1934 году. Это позорнейший для нас случай. Нужно прямо сказать, что в капиталистической стране если Лебедев погиб бы, то, вероятно, в своем салон-вагоне и при крушении своего поезда».

Капица не боится обвинить сталинский режим «в хамском» обращении с национальными гениями.

Они штучное, редчайшее создание природы. Их у нас было совсем немного за всю историю России. Тех, кому человечество обязано своей цивилизацией. Если не считать Капицу, то кто же?

Менделеев, Вавилов Николай, Вернадский, Капица, Ландау, Павлов, Эйлер, Колмогоров, Арнольд…

Могила Ньютона находится в Вестминстерском аббатстве. В эпитафии написано: «Пусть смертные радуются, что существует такое украшение рода человеческого».

Могила Эйлера в Петербурге, в Александро-Невской Лавре. Скромнейшая, если не сказать бедная. Мало кто ее знает. Во дворе Математического института стоит маленький бюст Эйлера — вот и вся дань России своему мировому гению.

Писателям, полководцам воздаем, а вот ученым — до этого дорасти никак не можем. Памятники в России ставит власть, может, все дело в том, что у нас она малограмотна, даже получив высшее образование, не хочет считаться интеллигентной, стыдится этого сословия.

Капица поучает Сталина, и тот терпит — вот что удивительно.

«Рано или поздно у нас придется поднять ученых до патриарших чинов». Без этого, убеждал он, энтузиазма не будет.

Он прав — наука движется энтузиазмом.

В течение всех 15 лет переписки Капица не позволяет себе ни малейшего угодничества. Никаких восхвалений, комплиментов, ничего похожего на обязательные тогда изъявления преданности, восторги перед мудростью знатока всех наук. Наоборот, он не умаляет собственной значимости в науке, не боится пояснять Сталину особенности работы ученого, я бы даже сказал, наставлять вождя. Мол, государственному деятелю необходимо «умение различить бесплодного фантазера, ловкого шарлатана и настоящего ученого» — не имея возможности вникнуть в существо вопроса.

В апреле 1946 года Капица получает письмо от Сталина: «Все ваши письма получил. В письмах много поучительного — думаю как-нибудь встретиться с вами и побеседовать о них».

Встреча не состоялась. Напрасно Капица ждал. До этого

Сталин позвонил М. Булгакову и тоже выразил желание встретиться. И Булгаков тоже не дождался. Результат, однако, был, его приняли на работу помощником режиссера во МХАТ. Меньшей должности там не было для автора «Дней Турбиных». При этом Сталин посетил пятнадцать спектаклей булгаковской пьесы. Пятнадцать раз! Такого упорного зрителя не имел, вероятно, ни один мхатовский спектакль. Пятнадцать раз — он знает каждый жест, реплику. Ничего нового. Чего смотреть? Зачем он снова и снова приезжает?

У меня есть предположение — странное, но ничего другого я не мог найти. Возможно, Сталину хотелось побыть в среде совсем иной, чем его соратники, вся эта трусливая шваль, готовая пресмыкаться, поддакивать любому его слову. Устал он от них. В сущности, он никогда не бывал в обществе русских воспитанных, порядочных людей. Переписка с Капицей давала общение с прямодушным человеком, с любопытной породой умников-донкихотов, тем более капиталистического изготовления.

Вряд ли Сталин собирался лично встретиться с ним, а вот посулить — почему бы нет, пусть мечтает. Всю жизнь он избавлялся от прямых контактов с умниками. Письма Капицы были непривычно откровенны, выдавали мощный ум и никакого благоговения.

Творческий дар уменьшает страх и увеличивает смелость. Происходит это само собой. Можно вспомнить гневные письма Короленко Луначарскому, письма И. П. Павлова Молотову в 1934 году. Ныне, спустя восемьдесят лет, они выглядят еще смелее:

«Вы сеете по миру не революцию, а с огромным успехом фашизм, — писал Павлов. — До Вашей революции фашизма не было… Я более всего вижу сходство нашей жизни с жизнью древних азиатских деспотий».

Сталину ничего не стоило сохранить Капицу директором института. Нет, он сказал Берии: «Я тебе его отдам». И отдал.

Загадки Петра Великого

В постсоветские годы стало появляться ощущение, что я живу в стране незнакомой, лишенной всякой идеи. Куда девалась Россия Петра Великого, который основал Петербург — «окно в Европу», порт — «ногою твердой стать при море, все флаги в гости будут к нам», и стал делать Россию просвещенную, европейскую. Впервые в европейской истории столица строилась на пустом месте и в разгар войны. Было непонятно, останется ли вообще этот клочок земли у России. Перед ней был сильный

противник — Карл XII и его сокрушительная, может быть, самая могущественная армия в Европе. Тем не менее у Петра не было никаких сомнений в том, что город станет столицей и будет жить. Поразительная вера в себя, в народ, в Россию!.. Петр начал строительство регулярной армии и флота. После Полтавской победы перед Европой предстала Россия державная, с которой следует считаться. Страх, который она внушает, еще не возвеличивает ее. С той же истовостью, с какой Петр создавал военную мощь, он строит Петергоф — творение чистой красоты… Посылает молодых дворян учиться за границу, создает Академию наук, газеты, музеи.

По сравнению со всеми прочими правителями, тем более российскими — у Петра было одно несомненное преимущество: непреклонная воля, позволившая двинуть Россию вперед и придать этому движению такое ускорение, которое сохранялось сквозь лень, бездарность преемников Петра вплоть до Екатерины Великой, сумевшей подхватить петровский раскат. Петр — явление особое и уникальное. Он знал, что нужно России, знал как это делать. И делал! Неслучайно он давно одна из самых примечательных, сложных фигур для писателей: Пушкина, Мережковского, Алексея Толстого, Тынянова, Юрия Германа.

Из трех книг, которые вышли у меня в девяностые годы, — лирическая проза «Чудеса любви», публицистика «Тайный знак Петербурга» — «Вечера с Петром Великим» — самая трудная. Роман писал лет 10–12. Бросал, снова принимался за него. Хотел рассказать о Петре не как о великом государе, полководце, воине, созидателе, ученом, а как о личности. Чем больше я занимался Петром, тем загадочнее он становился. Вообще добраться до разгадки, связанной с главным героем, — самое интересное. «Человек — это тайна», — говорил Достоевский. В самом деле, стоило найти какое-то объяснение поведению Петра, как следующим поступком он опровергал себя же. В его жизни начиная с момента рождения немало странного. Откуда вдруг в душной атмосфере сонного Московского Кремля появился этот сгусток энергии, устремленности, исключительной воли и любознательности? Что сформировало этот ум, этот характер? Александра Македонского обучал в детстве Аристотель, у Петра подобных учителей не было. Откуда такая тяга к просвещению? Или отказ от царской роскоши? Откуда?

С четырех лет Петр страдал водобоязнью. А с 10 — вдруг упоенная страсть к воде. Жадное изучение корабельного дела, любовь к водным путешествиям, мечта о море. Сухопутный мальчик среди сухопутных родичей. Загадка!

Еще одна странность. Почему Петр то и дело покидает свой

престол? То Петром Алексеевым служит в капитанском звании, то плотником Михайловым. На шутейных соборах тоже передавал свою власть — папе-кесарю. Не боится снимать корону, становится солдатом, простолюдином.

Накопилась система всякого рода стереотипов в восприятии Петра, от которой трудно было освободиться.

Допустим, актер Николай Симонов в фильме «Петр I» создал неистовый, кричащий образ государя, который внушал страх: кошачьи усы торчком, стремительная походка. А Петр был нормальным человеком со всеми его достоинствами и недостатками. То вспыльчив, то терпелив, то скуп, то щедр, то остроумен, то пьяно туп, то жесток, то милосерден.

Петр задал для русского общества тон милосердного отношения к побежденным. Те пленные шведские офицеры, что находились в Петербурге, пользовались свободой, их приглашали на балы, они учили русских дам и кавалеров танцевать… Получив в 1718 году известие о смерти короля Карла на поле боя, Петр искренне переживал. Он сам, а за ним и придворные надели «черные платья» в знак траура и послали соболезнование младшей сестре Карла. Между тем шел девятнадцатый год Северной войны, измотавшей и шведов, и русских…

Стрелецкий бунт, страшные сцены бойни, свидетелем которых был 10-летний Петр: за несколько дней от большой родни ничего не осталось, всех порубили… Никто не видит чуда в том, как покалеченная душа его смогла все же выправиться.

Жизнь Петра трагична. В ней были разные периоды. Первый, когда травмированный сердечной неудачей с Анной Монс, Петр привязывается к Екатерине, его снова посещает любовь. Он обретает семью, свою личную, домашнюю жизнь. Год от года привязанность Петра к жене крепнет. Их супружество было не похоже на семейные отношения монархов той эпохи. Нечто подобное было во втором браке его отца, Алексея Михайловича, с Наталией Нарышкиной, счастливом и коротком. Петр решается и на шаг, неслыханный в русской истории: устраивает коронацию безродной Екатерины, она — императрица.

Следующий период душевно тяжелый — когда Петр узнает о ее измене. Это был удар!

Величайшая трагедия Петра — казнь царевича Алексея. Принести в жертву отечеству родного сына!..

С годами Петра все сильнее захватывала идея Отчизны. Ради нее он не щадил себя. И вот, когда из крови и проклятий показалась наконец явь новой страны, на пути встала безвольная, неумная фигура сына, грозя порушить все, что было сделано. Драма была для него неразрешима. Не однажды я пробовал

представить себя на его месте. Как быть? Что делать? Конечно, убийство сына не выход. Но и альтернативного достойного решения не найти.

Его настигло одиночество, непонимание, невозможность иметь наследника (через год после казни Алексея умирает маленький Петр Петрович, спровоцированный выкидыш у Марии Кантемир) — это как рок.

Еще о Петре

Петру было приятно, когда ему говорили «Господин контр-адмирал», а не «Ваше величество». Потому что звание всегда для него было заслуженным, а не рожденным. Он аккуратно требовал свое жалованье и говорил: «Поскольку эти деньги я заслужил, как и другие офицеры, своей службой, то могу их тратить, как хочу».

Петр сделал удовольствие Карлу, освободив графа Реншильда из плена. В ответ Карл возвратил ему князя Трубецкого Ивана Юревича, Головина.

Дочь Гагарина, сибирского губернатора, была замужем за сыном великого канцлера Головкина. Сын Гагарина был женат на дочери вице-канцлера Шафирова.

Все эти родственные связи, ходатайства заставляли Петра откладывать казнь Гагарина, Петр требовал от него откровенности. Наконец, сын дал показания против отца. Петр поставил виселицу перед Сенатом. Никто не смел отсутствовать при казни Гагарина. После казни все родные должны были обедать с царем. Сын Гагарина был разжалован в матросы. Это была методика Петра в борьбе с казнокрадством.

В 1723 году Петр сжег свой дворец в Преображенском, здание обложили фейерверком. Петарды взрывались цветными огнями. Когда все сгорело, и осталось безобразное пожарище, оно дымило, воняло горелым чадом, Петр сказал: «Вот образ войны, блестящие подвиги, от которых остаются разрушения. Да исчезнет вместе с этим домом, где росли мои первые замыслы против Швеции, всякая мысль о войне».

Петр исполнял должность бомбардира и при этом старался своей службой бомбардира не стеснять главнокомандующего Шереметева, он становился как бы подчиненным, а не царем.

Современники спрашивали, зачем Петру самому нужно было строить корабли, поручил бы кому-нибудь, а сам занимался бы государственными делами. Но кому поручить? Некому было в

России. Иностранца выписывать? Нет, надо было самим учиться. Учились и за границей, и в России. Петр тоже учился, чтобы освободиться от зависимости, ему хотелось дознаться до всего, освоил голландский опыт, отправился к английским судостроителям, его желание научить свой народ совпадало с собственным призванием естествоиспытателя, инженера. Он понимал, что нужно пройти школу самостоятельности. Учился на заграничных верфях как частное лицо, а не как царь, как Петр Михайлов, а не как Петр Первый.

Конечно, все равно приходилось призывать иностранных мастеров, но теперь он мог их проверять, поправлять, требовать как хозяин, которого не проведешь.

Петр продолжал движение, начатое в царствие его отца. Он делал это энергичнее, он жаждал увидеть плоды.

Для меня был вопрос: что больше возбуждало в Петре энергию — победа или поражение?

Узнав о смерти Карла XII в 1718 году, Петр заплакал. Слезы его вызвали недоумение. Он сказал: «Брат Карл, как мне жаль тебя!» Как будто он любил своего врага. За что? Не за то ли, что тот многому научил, сделал Россию могучей державой. Поражение под Нарвой вызвало у Петра возглас: «Шведы победой своей научат и нас победить их самих!»

Возможно, подобные истории приукрашены, другие приписаны, но они естественны, они всю жизнь сопровождали Петра и для серьезных историков вроде Ключевского они служили серьезным материалом.

Петр был не тираном, творящим произвол, а служащим, выполняющим порученное ему дело. Поэтому нечего падать перед ним на колени, незачем зимой снимать шапки перед дворцом.

«Меньше низости, больше усердия к службе и верности ко мне и государству — таков почет, подобающий царю», — говорил Петр.

После смерти Петра начинаются распри у Меншикова с Ягужинским, чем дальше — тем больше. Ягужинский добивается развития торговли, но это встречает сопротивление, уже никто не думает о деле, беспокоятся о том, как бы Ягужинский не снискал расположения у императрицы.

«Он неспокойный человек». Меншиков учреждает Верховный Тайный Совет, Ягужинского в него не включают. Отстраняют от руководства Сенатом.

Забытая книга Игнатия Шенфельда

Рассказы лагерные — жанр привычный и, видно, неиссякаемый, тем более когда рассказы биографические.

Первые о судьбах диковинных. «Наследник из Калькутты» — роман Р. А. Штильмарка. Он сочинил его в лагере по замыслу лагерного бригадира. Поразительный случай в истории литературы. Роман этот я когда-то читал, знал автора, но понятия не имел о подробностях его истории.

«Раввин с горы Кальвария, или Загадка Вольфа Мессинга». Имя Мессинга окружено легендами. Помню, сколько невероятных слухов ходило вокруг его способностей, какие чудеса описывались о нем в журналах. Автор, Шенфельд, сидел с ним в одной камере, и Мессинг рассказал ему о себе, о своей заурядной бедняцкой жизни, где главными героями были не его способности обыкновенного иллюзиониста, а жажда чуда, которая пронизывала нашу серую, запуганную жизнь. Рассказ очень достоверно разоблачает ореол Мессинга. Есть излишество еврейских словечек, но есть освобождение, и очень приятное, от иллюзий, чудес и прочего шаманства, накрученного вокруг этой личности.

«Перчатка» — рассказ об уродствах лагерной жизни, где у человека открывается своя этика, свои нормы, что человеку можно, а что нельзя.

«Первый урок» — тоже лагерь, тоже нравы беспощадные, но без ужаса, а каким-то образом с улыбкой доброго человека. И рассказ «Мраков» тоже.

А другие, например хороший рассказ «Зоська без носа», — из детства, бедняцкой еврейской окраины, из жизни биндюжников и проституток, но с такой мальчишеской любовью и с таким смешным поворотом, какие устраивает нам только подлинная жизнь.

Отличает эти рассказы невыдуманность. Действительно, каждый человек мог бы написать интересную книгу из своей жизни, во всяком случае рассказы.

Шенфельд это и делает. Конечно, злая судьба предоставила ему для этого возможности. И дружба с писателем Юрием Домбровским, и лагерные приключения.

Но более всего меня интересовал его рассказ о Вольфе Мессинге. О нем я читал немало. У очевидцев все звучало убедительно. Так же как у тех, кто встречался с Вангой. Два эти феномена наука смущенно обходит. Наши ученые не хотят признаться, что не понимают. Я был у Ванги. И убедился в ее способностях видеть то, что никто не видит. И знать то, что никто не знает. И предсказывать… Для меня ее способности были несомненны.

Почему я поместил в книгу заметку о рассказах Игнатия Шенфельда? Автор давно умер, позабыта его книга. Она находится среди миллионов таких же отвергнутых. Между тем там немало драгоценных свидетельств — исторических, запретных сведений о событиях неведомых, о личностях великих, но оболганных мифами. Это заброшенные сокровища нашей цивилизации. Жалко.

* * *

Попался мне книжный каталог 1910 года. Собрания сочинений русских писателей:

Глеб Успенский…… 28 томов
Данилевский……24 тома
Лесков……..36 томов
Писемский……24 тома
Мельников-Печерский……22 тома

Рекорд был у Шелера-Михайлова — 50 томов. А я-то и не читал такого, и не слыхал. Там же — у Тургенева и Гончарова всего по 12 томов, у Чехова 16 томов.

* * *

Нет закона на милосердие, на благотворительность. «Дайте мне денег, помочь детскому дому», — прошу я. А мне в ответ:

— А зачем? Мне-то что с этого?

И все. Как его заставить? Нечем. На любовь нет закона. Ни в Уголовном, ни в Гражданском кодексе.

* * *

В тридцатых годах советская страна взяла курс на индустриализацию, строили Магнитку, Балашиху, Березники. То были стройки коммунизма. Хоть и коммунизма, а строили их заключенные. Их не хватало, надо было пополнять рабочим людом. Пополняли, раскулачивая крестьянство, арестовывая горожан, бывших дворян, священников. Чекисты могли обеспечить рабочей силой, а вот машинами для электростанций, химических, машиностроительных заводов — не могли. Тогда стали «изымать». Изымать, чтобы продавать. А что могла продать наша страна? Выяснилось, что лучше всего в Европе и в Америке

покупали предметы искусства, картины, ковры, ну и, разумеется, драгоценности и золото. Были организованы «Торгсины»: сеть магазинов, которые принимали у населения драгоценности. А население понесло свои колечки, бусы, потому что были голодны, потому что продукты давали по карточкам, паек был для служащих и рабочих голодный. Но строительство коммунизма нельзя было прекратить, это в анекдоте, когда вызвали в ЧК и сказали, сдавайте золото, нам надо строить коммунизм, мужик пришел домой и сказал:

— Требуют наши колечки, наши ложки и вилки серебряные.

— А зачем? — спросила жена.

— А затем, что у них нету средств строить коммунизм.

Тогда она сказала:

— А если нет средств, пусть не строят.

Но строить надо было, как же без коммунизма? Думали-думали, как быть. Позвали интеллигентов, были у них еще интеллигенты, оставались, и интеллигенты посоветовали:

— А вот капиталисты на Западе, они ценят наши картины, в Эрмитаже которые висят, и в других музеях стоят всякие вазы, а также скульптуры.

Стали выяснять. И действительно, к великому удивлению нашей власти, за все эти предметы, что стояли без всякой пользы в музеях, в Европе давали хорошие деньги. Не сравнить, что давали за лес или за икру, даже больше давали, чем за меха. И по транспорту выходило куда удобней, ничего не стоило отвезти две-три картины. Удивились народные комиссары: что ж это получается, за какую-то мазню или за бронзовые статуэтки такие деньги можно получить. И принялись торговать. Оказывается, культура, всякие художники и ваятели дают большую прибыль, прибыльная профессия, просто немыслимые суммы давали, и то оказалось, что можно было больше выручить, по дешевке продавали. Но все равно сделки эти считались выгодными, мы им небольшую картину, где нет ничего необычного, допустим, какой-нибудь старикан, а они нам за это целый автомобиль, а то и «Блюминг», или еще какую махину, очень выгодно торговали.

Рассказы Володи Бескончина

Это он рассказал мне уже после войны, когда мы встречались, уцелевшие однополчане Первой дивизии народного ополчения. Мы с ним были в одном полку с первых дней войны, но тогда было не до рассказов. На заводе он работал в МХ-2 зуборезом, у нас в полку сразу выделился из ополченцев. Было в нем

бесстрашие, способность мгновенно ориентироваться и принимать решения. До Великой Отечественной воевал на Халхин-Голе, так что был обстрелянный.

После первой бомбежки на станции Батецкая командир полка Василенко собрал совещание. Кадровик, молодой, но, конечно, для этой войны новичок, все были новичками, но кадровики хотели воевать по учебникам. Василенко тоже держался обеими руками за устав, хотел воевать по уставу, а тут сразу же все пошло наперекосяк, нет ни зениток, ни разведданных, связь работает плохо, и он ничего толком своим командирам сказать не может, они на него наседают, а он руками разводит. Володя Бескончин был на этом совещании, тоже добавил своих попреков. Навалились на Василенко без жалости, на ком-то надо было отыграться, и отыгрались так, что после совещания Василенко написал записку, написал красным карандашом, почему-то Володе это особо запомнилось, написал — и застрелился. Там слова были: «Не могу командовать этим сборищем, не солдаты — банда». Бескончин обиделся, ополченцы исключительный были народ, он всегда доказывал, они лучше всяких солдат, он говорил мне: «Сколько потом воевал в разных частях, таких не видал. Поспешил Василенко, не понимал, что мы, ополченцы, не привыкли еще к иерархии, для нас то совещание было как производственное совещание».

Бескончина назначили помощником командира батальона. В его ведении была разведка. Получил он задание задержать колонну танков, они прорвались и шли вдоль Луги от поселка Медведь. Выехали на десяти грузовиках, навстречу танкам сто двадцать бойцов. Командовал Подрезов. У Володи было своих разведчиков шесть человек. В деревне залез на колокольню, высмотрел в бинокль, что немцы расположились на привал. Одна их часть осталась в деревне. Он свою группу укрыл в засаде у кладбища. Ему Подрезов дал шестьдесят человек, они должны были начать атаку, остальные подтянуться. Комбат Черняков в такой-то момент начнет атаку. И вдруг вместо атаки наши начинают отходить без боя, так и отошли. Потом Чернякова вызвали в Особый отдел. На допросе он сказал: «Немцы завели моторы, я подумал, что пойдут в атаку, растерялся, дал команду отходить». — «Бросил, значит, Бескончина?» — «Нет, я его предупредил».

На самом деле не предупредил. Но Володя решил выручить его, иначе могли бы шлепнуть. На самом деле тогда хотел застрелить Чернякова. Успокоился, отозвал его в сторону и набил ему морду. Черняков утерся, промолчал. Потом он хорошо воевал. А тогда тоже хотел застрелиться. А уже зимой получил

орден Красного Знамени, в 1942-м Александра Невского. Со многими тогда случалось. Надо было «перевалить» через слабости — и дальше получался солдат.

Еще у него был рассказ про Валю Коневу, санитарку. Ей тогда 20 лет было, маленькая, хрупкая, две косички, она Гошу Полякова раненного вытащила. А в нем килограмм под девяносто было, я бы не поднял его, а она его 300 метров тащила, невообразимое происшествие. Вопреки всем законам природы.

* * *

В 1990 году 9 Мая я по привычке пришел на Марсово поле. Почти никого из фронтовиков там не было, правда, наступил уже полдень, ухнула пушка с Петропавловки. Сидел на мокрой скамейке инвалид, седой, без руки и без уха. Я подсел к нему. Разговорились. Полного монолога его приводить не буду, но в общем и целом, если все сложить, получается так:

— Понимаешь, 9 Мая, конечно, День Победы, праздник, но заодно отмечаю и то, что в июне 42-го здесь, в блокаду, разбомбили наш дом, и все мои погибли. Точный день узнать не мог. После госпиталя я стал отмечать все вместе: жену, теток, царство им небесное, и то, как без руки остался, и Победу. Такая она для меня теперь, инвалидная, да и не для меня одного, наверное. Но как отмечать, разве это праздник, если у всех, считай что у почти каждого целый список погибших, а еще если фронтовых добавить дружков, то это, считай, полный погост. Значит, получится, с одной стороны, салют, фейерверк, а тут же похоронный марш. Нет, думаю, полного праздника ни у кого быть не может. Конечно, чтобы выпить и закусить, причина есть. Молодым, может, не хочется сюда добавлять поминки, им праздник давай-подавай чистый.

Любовь

— Любовь не имеет учебников. Есть замечательные размышления, исследования у Стендаля, Алена де Боттона. Есть книги Фромма, Ортега-и-Гассета и другие, но это анализ, а не советы. О любви много пишут и романов, и особенно стихов. Большая часть поэзии — лирика. Тем не менее каждый любит по-своему. Как придется. Не пользуется тысячелетним опытом, ни Овидием, ни Петраркой, ни Пушкиным, ни Щипачевым. Удача не становится примером для других.

Меняется ли любовь из века в век? Ее структура, ее формы, ее слова, ее величина? Раньше любили сильнее? Длительность любви в XVIII веке, в XIX, теперь? Вопросов много, — ответов, руководств — мало.

Возлюбленная, та, которую мы любим, идеальна, существо возвышенное; женщина, которая исполняет ее роль, срывается в обыкновенное создание, грубое, крикливое, с плохим запахом изо рта.

У меня была прелестная особа, после нашей близости она спешила в ванную и долго там мылась. Отмывалась от меня? Это меня злило. Из-за этого мы расстались. Еще из-за того, что она громко хлебала суп. Кроме того, она все время перебивала меня…

Вспоминая Булата

Вспоминать о Булате и больно, и сладко. Почему-то всегда он для меня был старшим. В нашей прерывистой дружбе я, не любитель подчиняться, признавал его превосходство и опеку. Как-то, наверное, было это в шестидесятых, приехав в Москву, был у него и он повез меня знакомить с московской элитой. Образовывал меня, провинциала, вводил в круг. Приехали мы на какую-то вечеруху у Крахмальниковых. Там собрались интеллектуалы-диссиденты, гремучая смесь, звонкая, столично-остроязычная. Я наслаждался их пернатой разноголосицей. С того вечера начались некоторые знакомства, которые, как теперь понимаю, многое мне прояснили, укрепляли душу.

Потом попросили Булата спеть. В те годы он пел на домашних застольях охотно, без всякой принуды. Его пение никак не вязалось с тем политическим уксусом, каким мы потчевали друг друга. Не вязалось, но помогло увидеть все наши споры с высоты грусти и прелести скоротечной жизни.

О песнях Окуджавы написано и будет написано еще много. Ныне уж не понять, почему не стихи, не тексты, а именно его песни, его исполнение так нравилось одним и раздражало других.

Начальство особенно. И многих поэтов. Я помню, как резко отзывался о нем Александр Прокофьев, поэт, несомненно, талантливый, не обойденный и славой, и почетом. За ним и другие, и помоложе, и из фронтового поколения. Ревность прикрывали упреками в эстрадной профанации поэзии, мол, заигрывает с публикой, ищет популярности. То были единственные годы нашей истории, когда начальство «знакомилось» со стихами. Поэзия Окуджавы вызывала у идеологов тревогу за то, «как ее поймут?». Они всегда

беспокоились за подтекст. Его песни каким-то образом меняли краски жизни, видели на небесах, созвездиях, совершенно иные фигуры.

— Шансонье, шансонетки, — презрительно цедил Прокофьев.

Песни Булата не нуждались в переизданиях, в тиражах, в издательских планах.

Было впечатление, что Булат ничего и никого не боится. Мне нравилась эта фронтовая бравада, быстро утраченная нами в гражданской жизни.

Как-то в Париже мы с ним отправились в магазин русской книги, кажется Ельчанинова. Нас, конечно, особенно Булата, приняли радушно, провели вниз, в подвалы. Стеллажи были заполнены белоэмигрантской литературой и самиздатом. Тысячи и тысячи книг. Это было пиршество запрещенной у нас русской литературы. Комплекты журналов, издаваемых с двадцатых годов в Европе, в Штатах, мемуары, история, русские философы, наши авторы — от Белинкова, Авторханова, Раскольникова до Замятина, Шмелева, Розанова. Переводы на русский Оруэлла, Каутского, Коэна…

Нам сказали, что мы можем брать сколько угодно и бесплатно. Книги о Ленине, Сталине, сочинения Карсавина, Лосского, Бердяева, Степуна, Леонтьева…

Мы упивались этим богатством. Листали, показывали друг другу, уходили все дальше в глубь книгохранилища. Нас нашел бледный молодой человек, представился — племянник Бориса Зайцева. Понизив голос, предупредил, что в магазине есть сотрудники КГБ, они доложат, какую литературу мы взяли, чтобы мы были готовы к досмотру на границе.

Булата это развеселило. Ни одной книгой из отобранной груды он не поступился. В этой истории мне больше всего понравился интерес Булата к философским работам и к истории, так редко свойственный поэтам. Он готов был рисковать неприятностями ради этих книг.

Тогда, в начале семидесятых, книги, которые мы привезли из Парижа, были для нас сокровищами.

Однажды в Ялте, в Доме творчества, мы отмечали чей-то день рождения. Было шумно, весело, пили, пели, читали стихи, вспоминали войну, поскольку было Девятое мая.

Потом отправились гулять. Мы шли с Булатом вдвоем, и вдруг он заговорил про статью Бушина в журнале «Москва» о романе «Путешествие дилетантов». Бушин выискивал всякого рода неточности, описки, спорные места в историческом материале. Некоторые из его замечаний были справедливы. В любом историческом повествовании можно найти подобного рода

огрехи. Известно, например, сколько насобирал такого рода погрешностей в «Войне и мире» генерал М. Драгомиров, начальник Академии Генштаба, один из лучших военных теоретиков царской армии. Его возмущенные замечания тем не менее остались частностями, никак они не изменили главных достоинств гениального романа. Впрочем, генерал не мог, очевидно, оценить махину толстовской эпопеи. У Бушина его «находки» служили поводом для того, чтобы злорадно перечеркнуть прозу Булата. Но и не в этом было дело, главное был тон — чего ты, инородец, грузин, суешься в нашу русскую историю, не тебе писать об этом! Знакомый со времен космополитизма черносотенный свист. Статья Бушина появилась в 1979 году, когда, казалось, зловонное дыхание сталинизма выдохлось, ан нет, читать такое было стыдно. Я помню тошнотное чувство от его сладострастного поношения. Нынешние статьи — куда более грубые, откровенно шовинистические — почему-то читаются куда спокойнее. Тогда было стыдно и противно.

Булат заговорил об этом спустя месяцы после выхода того номера журнала. С горечью он недоумевал, почему литературная так называемая общественность не выступила в его защиту. Негодовали, ругались, а, по сути, отмолчались. Кто-то, кажется, Валентин Оскоцкий, написал ответ Бушину, было еще что-то, но по сути Булат был прав. Горечь его и удивление относились к нам всем, как мы разобщены и равнодушны, чего стоит наша кухонная либеральность, если даже солдатское братство перестало стоять за себя, не готово взяться за руки.

Видно было, что все месяцы эта мысль не давала ему покоя. Одиночество, вернее одинокость, его покинутость вдруг холодом обдала меня. Приоткрылась наша общая беда. С тех пор она все чаще давала о себе знать. Ведь и на защиту А. Сахарова тоже не поднялись. В России взаимовыручка существует лишь у подлецов. Порядочные люди вынуждены бороться большей частью в одиночку. Казалось бы, Булат, общий любимец… Тот разговор не дает забыть об этом. Мы стараемся заглушить свои угрызения, свою вину перед теми, кого дарило нам время, а мы оставляли их в тяжелую для них пору.

Булату достались сполна и радость признания, и удары, обиды, роковые минуты истории. С уходом его ушла наша фронтовая юность. Булат как никто оставался верен солдатской дружбе, той, особой военной, не важно, с какого ты фронта, важно, что ты с переднего края, обстрелянный, прикрытый такой же шинелькой…

* * *

В конце 1942 года я ощутил себя стариком. Полтора года на передовой. Нас, первачей, ополченцев, осталось в батальоне человек пятнадцать, не больше. Старики, остальные для нас новички. Офицеры удивлялись, что мы еще живы. Ныне я опять стал стариком, но не таким, как тогда. Сейчас никто не удивляется. Когда звонят по телефону, спрашивают: «Ну как ты, как чувствуешь?» Это звучит — ты как, жив? Значит, не умер? Молодец.

Старость совсем не плохо. Можно подольше поспать. Можно не ходить, не посещать, плохо себя чувствовать.

Тогда, на передовой, я посоветовался со своим приятелем Володей Лаврентьевым, он пришел в батальон на месяц позже меня и тоже считался перестарком. Теория вероятности, по его мнению, исчерпала свои благодеяния, и мы существуем уже вопреки ее законам.

— Считай, что ты привидение, — заключил он.

Я-то знал, что теория вероятности ни при чем, есть нечто другое, у меня появилось неприятное чувство обреченности. Счастливые случайности кончились. До сих пор все пули, осколки, мины меня обходили, теперь другое, — они промахивались.

Как всегда, помогла случайность. Появилась возможность поехать в танковое училище на курсы. Армия осваивала ИС-2. Я попросился, и спустя неделю поехал на полуторке по Дороге жизни.

Была отвальная. «Представляешь, ты сможешь каждую неделю ходить в баню», — говорил мне Володя.

Этого я не представлял.

«Будешь всю ночь спать, всю! — сказал ротный. — Без тревог, вылазок, дежурств».

Этого я тоже не представлял, а кто же будет на посту?

«Суп будет горячий и каша горячая», — помечтал кто-то.

Три месяца в городе Ульяновске, три месяца! Надену свои хромовые сапоги вместо кирзы, в туалете буду сидеть не орлом, а на настоящем унитазе. Утром умоюсь водой, а не снегом.

И ведь все исполнилось!

9 Мая 1965 года

Был призыв фронтовикам надеть ордена. И наш сотрудник, затруханный Марат Петрович, который всегда ходил в драном свитерочке, сгорбленный, простуженный, над его заиканием все посмеивались, явился в мундире, с орденами, да еще с какими —

Красное Знамя, Отечественная. Слава двух степеней. Все ахнули. Да еще распрямился. Заикание его — оказывается, накрыло его миной, у него золотая нашивка — серьезное было ранение.

А его начальник со своими значками и одной медалькой выглядел жалко, тем более что любил хвастаться фронтовыми подвигами. Правда, парторг сказал Марату, что по отношению к начальнику получилось бестактно.

* * *

Не могу не согласиться со Львом Толстым, писавшим, что Отечественная война 1812 года была справедливой и освободительной лишь до перехода русскими войсками Березины. С того момента она стала иной.

* * *

Он мечтал создать такой аппарат, чтобы прямо из травы получать сливочное масло… Или мясо, в смысле говядины.

* * *

— Надо быть честным… Надо быть добрым… Надо защищать слабых, — повторяет учительница.

Витя слушает ее внимательно, кивает и вдруг спрашивает:

— А почему?

— Что почему?

— Почему надо?

— Иначе тебя будут считать плохим.

— Ну и что? — допытывается Витя.

Учительница умолкает. Она могла бы сказать, что тогда Витю накажет Бог и не видать ему царствия небесного. Но не решается.

* * *

«Хочу с Нового года перестать быть неудачником».

* * *

Как-то, где-то, когда-то я заметил, что живопись в России

появилась по-настоящему в XVIII веке, музыка тоже. Много позже, чем в Европе. За это меня крепко приложили в печати. Что это я себе позволяю. Русское искусство насчитывает сотни лет. Иконопись, хоры, песни, сказания и т. п. Что, он не понимает, выходит, они культурнее, они — старше нас? Нет, мы тоже древние, мы совсем не отсталые, наше искусство ого-го!

А между прочим, университеты Европы появились в XII веке. Например, в Падуе, в Болонье. Там учились будущие великие ученые, философы, литераторы, Коперник, Петрарка.

Флоренция — 1349 год. В Англии Оксфорд — с 1117 года. Что у нас тогда было? Не понятно, почему мы так стесняемся своей молодости. Замечательные русские монастыри — это XII–XIV века. Университеты — XVIII век. Скульптуры — XVIII век. Академия наук — XVIII век.

Мы молодое государство, молодой народ, наше искусство молодо. Молодость наше преимущество. Русское чудо оно в том-то и состоит, что за два века, XIX и XX, наша живопись обогатила мировое искусство именами Малевича, Шагала, Врубеля, Кандинского, Серебряковой, Ларионова, Филонова, Коровина, Фалька, Репина, Нестерова и других. Музыкой Чайковского, Бородина, Стравинского, Рахманинова, Шостаковича, Прокофьева, Шнитке, Мусоргского. В литературе Россия мощно выступила в лице Толстого, Гоголя, Достоевского, Чехова, Тургенева, Маяковского, Цветаевой, Ахматовой, Булгакова, Бунина, Бродского, Блока. В кино, в театре, архитектуре — создав мировые шедевры, Россия ворвалась в мировое искусство нежданно для Европы. Во всех областях она заявила о себе новыми и авангардными явлениями. Это было действительно чудо. Россия выступала вундеркиндом. В сравнении с Италией, Францией, даже Голландией, ее искусство было не менее смелым. Можно только восхищаться явлением этого феномена русского ренессанса. Желание казаться старше — детское желание. У России есть прелесть юности, это ее сила.

* * *

Самая ранняя память детства. Мы не знаем, когда она начинается, один ее пример я услыхал от Лены Рубашкиной. Однажды девочкой она шла по деревне с мамой. Вдруг увидела козу. Испугалась. Взяла мать за руку и стала обходить козу издалека. «Что с тобой?» — спрашивала мать.

Лена ничего не могла объяснить, а была девочкой отчаянной, не боялась ни быка, ни коров.

Потом мать вспомнила, что, когда была беременна Леной, шла по улице и на нее напала коза, мать защищала обеими руками живот. Отогнала козу, но страшно напугалась, и вот когда этот страх отыгрался.

* * *

После войны «давалки» стали давать орденоносцам дешевле. Давали в саду на скамейках, звали их клеенками.

* * *

Ему всегда надо было кого-то любить. Он не мог жить без любви. Он страдал от отсутствия любви больше, чем от неудачной любви. Он говорил, что никогда до конца не мог понять ни одну женщину. Всякий раз он убеждался, что из нее можно извлечь еще и еще любви и сострадания, что чувство ее неисчерпаемо, всякий раз он убеждался, что любовь оказывается и больше, и удивительнее. Любовь нужна, чтобы делать желанных детей, то есть добротное потомство, — великую живопись, музыку.

* * *

Ольга Берггольц всегда вызывала сочувствие, что бы с ней ни случалось, в каком бы виде она ни была. Пьяная, облюет себя, матерится, и все равно хороша, все равно при этом любима всеми, все ей сочувствуют, понимают, прощают. Ее любили замечательные мужчины: Борис Корнилов, Юра Макогоненко, они сами пили как следует, а вот от ее пьянства страдали.

О Набокове

Он жил в гостиницах. Не приобретал домов, квартир, вещей. Сберегал свою память. Хранилище молодых воспоминаний. Российских. Он не пользовался «казенными» библиотеками. Отчасти, может быть, этим объясняется феномен его исключительной памяти. Людей памятливых много. Все равно память Набокова остается редкостной. Она умела реставрировать мироощущения его детской жизни, от когда-то испытанного

поединка с грифелем сломанного карандаша, от процесса засыпания в детской, от самых незначительных деталей давно прошедшей жизни.

Чтобы вести такие реставрационные работы, надо, очевидно, ограничить приток свежих впечатлений. Так оно и было, судя по его произведениям. Я, конечно, полагаюсь тут на услышанное от его друга, профессора Университета в Канзасе.

«Другие берега» — его воспоминания, мир детских, юношеских, семейных событий покоится на прошлых, на прожитом, как будто последующий приток жизни был прерван.

При этом он потчует нас не консервами, его воспоминания имеют свежесть узнавания — и со мной так было — детство имеет куда больше открытий, чем взрослость. Одно из самых сладких чувств при чтении — это момент узнавания — Боже мой, это же и про меня, и я это чувствовал, и я так думал, об этом плакал. Но если со мною это уже было, почему я так рад встрече с прошлым чувством? Скорее всего, мне радостно вспомнить забытое, сладостна моя общность с другим человеком. Соприкосновение. Прошедшее возникает ярко, оно подарок. Неожиданная награда. Оно избавляет от одиночества. Один из читателей признался мне: «Благодаря книге я не чувствую себя отделенным от людей, без таких книг я был бы одинок, они заполняют мир близкими мне людьми».

* * *

Как быстро вырождаются поля. Бурьян, затем кусты, я не был здесь лет семь, и вот на полях повылезали камни, валуны. Убирать некому. Еще полсотни лет, и не останется и следа от здешнего земледелия. А ведь отсюда пошла земля русская. Новгородчина! Здесь ссорились, дрались за каждый клочок. Сейчас — бери не хочу. Лежит земля пустая, вроде как ничья. На самом деле, может, продана. Кому-то. Но этот кто-то, где он? В Рио-де-Жанейро? В Норвегии?

Ехал я из Питера в Новгород, деревня за деревней, все же шоссе федеральное, а дрянное, все в ямах, движение сильное, но дома стоят безлюдные, окна темные, улицы пустынны, нигде на участках ни кур, ни свиней, ни гусей. Вместо коровников — гаражи, вместо коров — машины. Где жители? Сейчас зима, может, они уехали на городские квартиры?

Изба обшита вагонкой, три окна, крыша — шифер, крылечко, палисадник, сарайчики. Выстроились одноэтажки вдоль дороги. Когда-то клубилась пыль, теперь выхлопы многотонных

дальнобойщиков. Изменился ли быт деревенский? Есть радио, есть телевизор, но тот же огород, картошка. Есть газ, та же каша, но хлеб не печен, есть холодильник. Вроде много переменилось, а вроде облик этой деревенской жизни — та же самая деревянная Россия. Радищев, что проезжал тут 250 лет назад, наверняка узнал бы это Рябово. Глубинка наша меняется медленно, неохотно, и кажется — может, так надо? Может, и хороша эта не просыхающая бедность жизни? Современность — она ведь все меньше радует. Очень уж много в ней своей грязи, душевной.

* * *

Петербург появился для России внезапно. Никто не предполагал этого города. Решение Петра было для всех неожиданно. И рос город поражающе быстро.

Из тьмы лесов, из топи блат
Вознесся пышно, горделиво…

Ничего подобного в истории мировых столиц не было. Уже в царствование Екатерины Второй он восхищал приезжих своей юной красой. Мужал, хорошел, обретал собственный облик.

Широкая гладь Невы стала главным проспектом города. Набережные еще более раздвинули пространство, составив с рекой одно целое. Вся дельта Невы с ее рукавами включилась в городской пейзаж.

Первые же гравюры запечатлели живость рек, каналов, протоков, заполненных движением яхт, плотов, шлюпок, галер, баржей. Морские парусники заходят в устье Невы, повсюду на причалах Фонтанки, Мойки, Невки кипит портовая жизнь, разгружают товары.

Петербург был вызовом сухопутной России, он отучал русских от водобоязни, от ксенофобии.

Нарушая все традиции, он встал лицом к реке, выстроил по ее берегам лучшие свои дворцы, особняки, памятники, сады, создав исключительную по своей торжественности панораму. Невская ширь позволяет охватить одним взглядом прибрежную даль, парад гранитных набережных, мостов.

Существуют два Петрополя: один на берегах, другой — отраженный в водах, его омывающих; двойной город, двойные мосты, мостики делают реальность зыбкой, отражения колышутся, исчезают.

Ныне только через старые гравюры и картины можно

представить, что значила для города его водная сеть: по ней везли бревна, продукты, кирпич, зерно, гончарные изделия… Водные пути служили дорогами, торговыми путями, транспортными магистралями. Зимой по льду шли санные обозы.

На Масленицу на всех площадях шумели гулянья, праздничные базары, представленья. Вообще в городе бурлила публичная жизнь, улицы были полны бродячими торговцами, музыкантами, мастеровыми. На Царицыном лугу происходили военные парады, смотры полков, разводы караулов. Судя по картинам, зрелище было эффектное, недаром оно собирало толпы горожан. Каждый полк отличался своей формой, играли духовые оркестры. Столица отмечала то победы русского оружия, то тезоименитство. Царицын луг — Марсово поле — выполнял роль народного общедоступного театра. А в особо торжественных случаях зрелище переносилось на набережную, где в вечернем небе расцветали фейерверки. Искусство этих огненных представлений, начатое самим Петром Великим, мастера этого весьма сложного «художества», поддерживали в течение всего XVIII века.

Некоторые художники сохранили нам любопытные сценки уличной жизни. На Лебяжьей канавке, казалось бы, в дворцовом центре города, прачки стирают белье. Торговки снуют по Марсову полю. Идет катание с ледяных горок на Неве. Нарядные балаганы сооружались и на Царицыном лугу. На фоне величественных сооружений державной столицы демократично протекало существование питерского обывателя. Не чувствовалось жестких сословных перегородок, город был открыт всем конфессиям, всем иностранцам, приезжим, чиновникам. Строгая бюрократическая столичность прекрасно сосуществовала с новым типом горожанина, недаром появилось новое качественное понятие — «питерский человек», «петербуржец» — отзывчивый, приветливый, грамотный — конечно, относительно, лишь в сравнении с российским провинциалом. Культуру питерца формировал город, первый европейский город России, свободный от ксенофобии. Тут сошлось многое — порт, купцы, матросы; музеи, Академия наук; восторги приезжих, ибо город к XIX веку заблистал архитектурными шедеврами Растрелли, Захарова, Росси, Воронихина, Ринальди, императорскими театрами, музыкантами.

Даже у европейца Петербург вызывал почтение своим королевским происхождением. Замысленный Петром как столица, он и осуществлялся под стать своему творцу — размах площадей, перспектива широких проспектов, прямые линии Васильевского острова — необычайная планировка города была не похожа на средневековые тесные улочки Европы. Конечно, молодой город не

мог похвастаться стариной, но он в ней и не нуждался, его центр привлекал внимание новизной решений, ансамбли были исполнены прелести классицизма, позже он дал образцы превосходного модерна.

Город не следовал примеру Амстердама, он никого не повторял, он вдруг оказался отдельной ценностью Европы, для России же — долго еще — приемышем, чуть ли не чужеземцем.

К нему привыкали. У него не было прошлого, он сам творил свою историю, свои легенды. История эта получалась героической.

Петр вычертил город прямолинейный, хотя изгибы Невы нарушали его непреклонность, но все равно она была заложена в его природе.

Его называли «колыбелью революции», можно с таким же успехом называть его «колыбелью контрреволюции», важнее то, что два с лишним века он был духовным центром России, местом рождения русской литературы, поэзии, науки, источником просвещения, и совершенно непривычной городской красоты.

Унылая северная низменность требовала от градостроителей иной архитектуры, появлялась как бы геоархитектура, вертикаль среди распластанных ансамблей: золотые шпили, башенки, итальянское, французское, немецкое соединилось в нечто питерское. А еще и в чисто имперское. Ведь Петербург из столицы России превратился в столицу Империи. Отсюда и имперское обилие львов, коней, колоннад.

Странно, как много в этой, казалось бы, «новостройке» сразу же появилось поэтических уголков, заповедных мест. Чего стоит хотя бы Михайловский замок с его подъемными мостами, рвом, суровой романтикой Мальтийского ордена и масонских лож. Причудливые особняки Каменного острова, Зимняя канавка, Новая Голландия.

Поэтичность — свойство петербургских ансамблей. Сдержанное северное лето, белесое низкое небо, дыхание залива, белые ночи, лишенные теней, наполненные призрачным бледным светом, — все это примиряет с тяжелым климатом, сыростью, наводнениями.

Город не подавляет громадами, здания здесь соразмерны с человеком, они тактично соразмерны и между собой. Нет тех выскочек, которые появляются, когда, не умея делать великое, делают большое. В самом деле, в чем величие Зимнего дворца или Главного штаба?

Никогда не скажешь, что перед нами всего лишь трехэтажные постройки.

Русская аристократия не жалела средств для создания

изысканного интерьера своих жилищ, приглашали лучших художников, декораторов. Дворцы Юсуповых, Строгановых, Шереметевых соперничали с царскими палатами, до сих пор они восхищают безупречным вкусом. Немудрено, что так хороши были петербургские балы. В ныне безмолвных музейных залах собиралось светское общество, отнюдь не только щегольства ради. Здесь рождалось общественное мнение, создавались салоны, музыкальные, литературные. Рождение русской поэзии, да и музыки, во многом театра, происходило в Петербурге. Салон — изобретение не только западное, но и петербургское, все начиналось с петровских ассамблей. Когда они перешли в салоны, там уже обходились без попоек, там ценили прелесть общения, веселого, непринужденного, не приуроченного к датам.

Петербургу повезло — перенос столицы в Москву сохранил исторический центр. Отчасти сохранению способствовала и бедность экс-столицы, городу не давали денег на реконструкцию. Не было безобразных перестроек. Около пятисот дворцов и особняков уцелело, огромный массив художественного наследия, совершенных созданий дореволюционного времени, «блистательного Петербурга». Не было бы счастья, да несчастье помогло.

Вслед за Петром русские монархи продолжали украшать город. Они любили детище Петра и с пониманием обустраивали столицу. Но кроме них этот город создавали и Пушкин, Гоголь, Мусоргский, и Комиссаржевская.

В Петербурге много Венеции. Реки, притоки, каналы, мосты, мостики, большие, разводные, мосты над Невой, красавцы, мосты-мучители, виновники автомобильных пробок… — словом, вода во всех видах, и лучшие особняки, дворцы вдоль набережных.

Венеция — это еще и постоянный праздник. Петербург устраивает свои праздники в белые ночи. Белые ночи есть и в Архангельске, и в Бергене, но Петербург присвоил их себе, начинил их множеством праздников и вообще стал городом белых ночей. Тут уж Москва ничего поделать не могла. Она переманивала себе лучших актеров, архитекторов, писателей, ученых, а купить белые ночи не сумела.

Мосты в Венеции крутые, две лестницы составлены шалашиком, я от них быстро притомился, в Питере они украшение, каждый мост — произведение. Это зрелище, особенно когда они разводятся, встают дыбом. Украшение их — решетки, например, Литейного моста или фонари Троицкого моста. Вид с них на город такой, что дух захватывает, оба берега разом открываются. Это делает ширина Невы. Вообще Нева — главное

украшение города, она не просто река — у нее два ледохода, собственный и еще когда идет лед с Ладоги. У нее есть наводнения. Это тоже зрелище. У нее всякие притоки, где мосты украшены львами, сфинксами, цепями.

В каждом уважающем себя городе есть малая архитектура, сугубо местные киоски, барельефы, клумбы. Петербург украшен великим множеством львов, коней, орлов, более всего я любуюсь прелестями чугунного литья балконных решеток, а какой красоты попадаются кованые дворовые ворота красивейшего рисунка. У ворот кое-где сохранились еще гранитные тумбы, чтобы экипажи, телеги не оббивали подворотни. Козырьки над подъездами. Есть подъезды, где еще стоят камины. Зачем отапливалась лестница? Для обогрева швейцара? Почему не печь? Я так и не смог выяснить. Порядки столичных доходных домов «высокого пошиба» во многом подзабылись, некоторые начисто.

Города украшают себя по-разному. Я люблю примечать эти скромные штрихи малой архитектуры. В Бергене, например, на чугунных крышках люков — барельеф городского пейзажа: набережная, ганзейский район…

* * *

Наша немецкая знакомая, Вера Ольшлегель, написала мемуары, рассказав все половые особенности своего мужа и то, что он спал с ее дочерью. Мемуары имели успех.

О Петре Великом

В годы работы над романом о Петре у меня накопились выписки из разных источников. Довольно любопытные. Это то, что не попало в роман, не пригодилось, но, как мне кажется, годится для размышлений.

Петр помогает своему другу Лефорту построить роскошный дом, там устраивает самые веселые попойки, не менее роскошно устраивается дворец Меншикова в Петербурге. Петр отдает роскошь другим, его собственный дом в Летнем саду несравнимо скромнее. Примерно так же он отдает свой царский сан приближенным, водружая его на кого-либо, освобождаясь хоть ненадолго от тяжести шапки Мономаха.

То и дело он пробует себя то матросом, становится плотником, шкипером, вот он капитан, а вот барабанщик, вот токарь, он работает в кузне кузнецом, у пушки бомбардир, и

конечно, моряк, пробует себя на всех должностях от юнги до капитана.

Князя Федора Ромодановского Петр величает «Мой государь», и тот принимает игру и делает выговор — «господину капитану».

* * *

В 1721 году пришло известие о мире в Швеции. Кончилась Северная война, она длилась больше двадцати лет, и, наконец, — мир. На Троицкой площади собрался народ. Петр зашел на помост, поднял ковш с вином и поздравил всех с окончанием долгой войны, поздравил с миром «счастливым и вечным». Он выпил за здоровье народа и стал со всеми веселиться, плясать, петь песни. Плясали и плакали от счастья, кричали «Виват!», стояли кадки с вином, люди пили, целовались, с крепости палили пушки, выстроились полки в парадных мундирах, они давали залпы из ружей. Трубили трубачи, по городу ездили драгуны с белыми перевязями, они держали знамена, украшенные лавровыми ветвями. Десятого сентября начался маскарад, сотни ряженых в масках целую неделю носились, дурачились, город ликовал, была объявлена амнистия.

* * *

Дмитрий Сергеевич Лихачев говорил мне, что Петр — человек барокко. В России не было ренессанса, сразу началось барокко, оно пришло с Украины.

Он же говорил мне, что Алексей Михайлович вовсе не был «тишайший», он энергично разгромил разинщину, при нем началась немецкая слобода и курс на просвещение, и то, что монарх труженик. Так что петровское как бы появилось до Петра. Петр — закономерен. Но Петр совершает поступки, совершенно не принятые в то время, да и в другие времена, чего стоит — после ожесточенного Полтавского боя, когда пролилось столько крови, Петр приглашает к себе в шатер пленных шведских генералов, сажает их за стол и пирует вместе с ними и со своими соратниками.

Одно из распространенных утверждений, связанных с царствованием Петра Великого, это то, что его реформы не оправдали себя, оказались безрезультатными, не имели продолжения. Таков один из мифов, связанных с жизнью Петра. Вообще его личность окружена мифами. Большая их часть —

умышленное желание последующих правителей приспособить фигуру Петра под свое царствование. Более же всего в этом смысле постаралась история советского времени: Петра изображали как жестокого правителя, он насильно внедрял западные обычаи, уничтожал русское национальное, то, что связано с идентичностью русского человека. Так ли это?

Насильно заставлял брить бороды. Наверное, так оно и было, но после Петра никто снова не стал отращивать бороды, не вернулся в прежнюю бородатость.

Заставил отказаться от кафтанов, заставил перейти к европейской одежде? Но ведь после его смерти не стали возвращаться к прежней одежде, европейская прочно укоренилась в русском быту. Была охотно, и даже с радостью, принята молодежью.

Петр завел первую газету, все последующие царствования увеличивали количество газет, росли их тиражи, они появлялись во всех губернских городах.

Петр перешел к европейскому календарю, и этот европейский календарь укоренился.

Были введены так называемые ассамблеи, балы с угощениями, танцами. По европейскому образцу. И это с радостью было принято в знатных домах Петербурга, Москвы а затем и провинции.

Таких примеров можно приводить великое множество. Мы до сих пор пользуемся громадным наследием петровских инноваций, как говорят ныне.

Его реформы преобразили русскую армию в регулярную. Создали российский военный флот, российский торговый флот. Петербург строился как каменный город, Петербург от Петра получил такие ныне очевидные вещи, как полицию, городское освещение, набережные, которые он сделал главными городскими улицами, Петербург стал первым городом в России с прямыми проспектами и улицами, системой площадей, каналов. Это все были новации естественные, необходимые, и поэтому они так быстро и крепко укоренялись и в других городах России.

Женщина

Я говорил с ней о предстоящем семинаре. Кто будет, где проводить его и прочее. Глаза ее посмеивались, совершенно невпопад разговору, вдруг заглядывали внутрь меня, в глубину зрачка, взгляд распахивался, там что-то открывалось, звало, сбивало меня с толку. Шоколадные глаза лакомо блестели,

подначивали. Может, надо было как-то откликнуться, но дела не отпускали, и она погасила свои огни, игра прекратилась, ее интерес ко мне кончился.

* * *

То, что рассказывала и Ольга Берггольц.

«Добровольский, сотрудник Дзержинского, старый большевик. Был заведующим музеем ГПУ НКВД. Потом арестован, долго мыкался в нетях.

В 1941 году — комиссар Седьмой армии. Тоже, конечно, нагрешил достаточно.

Вспоминает, как его, перед прилетом Мерецкова, напутствовал энкавэдэшник:

— Встречай командующего армией, смотри, чтоб не ушел к немцам или чего с собой не сделал, а то — во.

К лицу Добровольского гэпэушник подносит сжатый кулак.

Прилетел самолет. Вылезает оттуда Мерецков, небритый, грязный, страшный, прямо из тюрьмы.

Добровольский рассказывал, как Мерецков идет бриться и говорит Добровольскому:

— Ты, что ли, ко мне приставлен? Ну, пойдем на передний край.

Ходит, не сгибаясь, под пулями и минометным огнем, а сам туша — во.

— Товарищ командующий, вы бы побереглись…

— Отстань. Страшно — не ходи рядом. А мне не страшно. Мне жить противно — понял? Ну, неинтересно мне жить. И если я что захочу с собой сделать, — ты не уследишь. А к немцам я не побегу — мне у них искать нечего… Я все уже у себя имел…

Я ему говорю:

— Товарищ командующий, забудьте вы о том, что я за вами слежу и будто бы вам не доверяю… Я ведь сам такое же, как вы, испытал.

— А тебе на голову ссали?

— Нет… этого не было.

— А у меня было. Мне ссали на голову. Один раз они били меня, били, я больше не могу: сел на пол, закрыл руками голову, вот так руками, сижу. А они кругом скачут, пинают меня ногами, а какой-то мальчишка, молоденький, — расстегнулся и давай мне на голову мочиться. Долго мочился. А голова у меня — видишь, полуплешивая, седая… Ну вот ты скажи — как я после этого жить могу.

— Да ведь надо, товарищ командующий. На вас надеются. Видите, какая обстановка.

— Вижу обстановку…

Ну, настает ночь, он говорит:

— Что ж, давай вместе ложиться на эту постель.

Мне страшно его оставить, легли мы вместе, лежим, молчим.

— Не спишь?

— Не сплю, товарищ командующий.

И вот стали мы вспоминать, как у кого ТАМ было. Говорим, вспоминаем — не остановиться, только когда он голос начинает повышать, я спохватываюсь, говорю:

— Тише… тише, товарищ командующий! Ведь, наверное, за нами обоими следят. Разрешите, проверю обстановку.

Соскакиваю с постели, бегу смотреть, не слушает ли кто у дверей, и опять говорим друг с другом… Глаз до утра не сомкнули…»

В дальнейшем Мерецков отличился при прорыве блокады Ленинграда. Вот в такой обстановке воевали, командовали наши маршалы, генералы, кого им было ненавидеть, кого любить.

Любанская и Синявинская операции — провал полный, но Мерецков отличился в прорыве блокады в ходе операции «Искра».

* * *

Первое, что спросил редактор, — почему я пишу больше всего про войну 1941–1942 годов? Ведь я воевал и позже, по сути, все четыре года отбухал, демобилизовали меня в конце 44-го года. Почему не пишу про то, как входили в Прибалтику и дальше. Про свою танковую роту.

Действительно, почему? А чего про то писать. Наступали, стреляли, давили, громили, и помнится плохо и неинтересно.

* * *

Чехов писал: «Веровать в Бога не трудно. В него веровали и инквизиторы, и Бирон, и Аракчеев. Нет, вы в человека уверуйте». Он прав, в самом деле, с началом XXI века у нас надели крестики, а многие поверх платья, как украшение, повесили иконы, даже в присутственных местах. Стали ходить в церковь. А пьянство не уменьшилось, колются и грабят по-прежнему, казнокрадов становится все больше, стали воровать не миллионы, а миллиарды. На всякий случай они же подкупают Господа —

строят часовни, храмы. Таким манером веровать в Бога и впрямь не трудно.

В повести своей «Ионыч» Чехов пишет про губернский город С. В этом городе местные жители не жалуются, они довольны, что есть библиотека, театр, клуб, бывают балы, «…что, наконец, есть умные, приятные, интересные семьи, с которыми можно завести знакомство».

«Устраивают любительские спектакли с благотворительной целью».

И кажется, что жизнь провинциальной интеллигенции была во времена Чехова куда лучше нынешней.

Мои родные живут в Волгограде, город по праву вроде считается одним из крупнейших и значимых городов России, а молодые мои волгоградцы жалуются на то, что деваться в городе некуда: ни театров, ни концертов, ни клубов. Если что и бывает, то это приезжие гастролеры, дай Бог, чтоб были добросовестные и первосортные, а они редкость. Вот и недоумеваешь: неужели за полтораста лет, со времен Ионыча и Чехова, так духовно обеднела наша жизнь? Про город С. Чехов писал с укором, ибо герой, хороший доктор Старцев, скучал, томился от однообразия пошловатой провинциальной жизни.

Неужели с тех пор даже эта жизнь в городе С. еще больше духовно оскудела?

Труд не придает нашей жизни смысл. Да и есть ли он, этот смысл? Чехов, например, всю жизнь искал общую идею, ради которой нужно трудиться, и не мог найти, и не стеснялся признаться в этом. Вот его герой, Старцев, хороший врач. С годами становится все опытнее. Должен бы, казалось, получать удовлетворение от своей работы. Чехов был врачом и знает, что значит в городе, в таком, как С., хороший врач, а тем не менее этот хороший врач, признанный горожанами, обеспеченный, не находит удовлетворения от той жизни, которая ему выпала на долю. Профессиональный успех, труд — этого всего недостаточно человеку. И любовь у Старцева была возможна, и признание, и вместо экипажа с одной лошадью с тройкой теперь получил, а все равно не хватает чего-то черезвычайно важного, того, что называют обычно смыслом жизни, так вот этого смысла ему никак не найти.

* * *

В колхозной конюшне обнаружился Конек-горбунок. Зав. фермой, хоть и был поддавши, доложил председателю. Тот не поверил. Давно он не бывал в конюшне. Лошадьми не интересовался. Все же приехал. Решили подстрелить урода. В последний момент председатель пожалел. Что-то ему напомнил этот Конек. А что — не мог вспомнить. Ладно, отпустили его. Конь поскакал. Они смотрели ему вслед и увидели, как навстречу ему откуда ни возьмись выскочил Кот в сапогах, и оба они понеслись.

* * *

Когда человек прав, никакие власти не могут у него этого отнять. Он может отречься, подписать что угодно, и все равно будет жить сознанием своей правоты.

Фанера

По словам Юрия Афанасьева, во времена Хрущева ракет стратегического назначения было всего лишь шесть штук, десятки других изготавливали из фанеры, выставляли и успешно морочили американские спутники. Декорация сопровождает российскую историю со времен Потемкина вплоть до нынешних государственных концертов из «фанеры».

Записанные на пленку аплодисменты, записанный смех подкладывается к реплике, к фразе, один и тот же, однообразная механическая реакция. Смеются вместо меня, аплодируют тоже за меня. Как это уныло и неприятно.

* * *

Иногда вдруг всплывают «лесные» словечки. Они из детства — древостой, валеж, просека, баланс, лежневая дорога, огневище, вырубка, пропс (уж не помню, что за материал). Еще «опад». А еще говорили лесничие: «Лес обойдется и без нас, а вот мы — нет».

* * *

Л. Н. Толстой писал: «Нужно отвыкнуть от мысли о награде,

похвале, одобрении. За все хорошее, что мы можем сделать, не может быть никакой отплаты. Плата вперед получена нами такая, что с самым большим усердием не отработаешь ее».

«Красиво сказано, ваше сиятельство. Значит, я должен за бесплатно. А у нас нынче рынок. Если бы за честный рынок старались, еще можно было бы толковать. Я готов жить по законам совести, только если буду иметь в награду хороший счет в банке, в твердой валюте».

Примерно так отвечал ему чиновник из нашей мэрии в моей ненапечатанной повести.

* * *

— Как ты думаешь, существует искусство жить? — спросил меня Левашов.

— Наверно, да, но не на войне.

— Искусство жить требует таланта, как всякое искусство.

— В чем это заключается?

— Искусство жить состоит, например, в искусстве любить. Это значит видеть красоту женщины, суметь рассказать ей про ее красоту. Как хороша она, как она умеет… Чего-то она ведь умеет. Носить шарфик или варить овсянку.

— То есть парить ей мозги.

— Грубый ты человек. В любви выигрывает тот, кому она доставляет больше счастья, то есть твоя любовь должна быть больше, чем ее.

* * *

На экзамене в школе учительница меня спросила — почему Лев Толстой в романе «Война и мир» описал, как французы входят в Москву в 1812 году, а не как русские войска победили и вошли в Париж? Действительно, почему? Я был озадачен. Мялся, мычал… Казалось бы, такой красивый выигранный естественный ход войны. Потом я долго размышлял над этим вопросом. Что я придумал? А то, что поражение подняло духовную мощь народа, так что, казалось бы, разбитый, он сумел собраться с силами и погнать противника. Не сломался. Поражение выявило такие силы, о каких Наполеон и не подозревал. Наверное, вот эта скрытая мощь, верность своей свободе больше всего привлекали Толстого.

* * *

Мы передаем свою память магнитофону, мобильнику, фотоаппарату, интернету. Зачем нам обременять память? Так удобнее. И не замечаем, как забываем не только телефоны, даты, но многое из своей жизни. События, свидетелями которых мы были, тоже забываем, то есть отвыкли запоминать. Зачем они? Они есть в газетах, в интернете. Появляется у нас все больше белых пятен забвения. Забываем с облегчением. Беспамятство стало отличительной чертой нашего общества.

Нина

— Добрый день, позовите, пожалуйста, Нину.

— Я у телефона.

— Чего-то голос незнакомый.

— А кто это?

— Нина, это вы?

— Я же вам сказала.

— Нина, это я, Слава.

— Какой Слава?

— Ну, с Концертного зала, вы же мне дали свой телефон.

— Не помню, вы путаете.

— Подождите, это номер 236 71 70?

— Да.

— И вы Нина?

— Да.

— Значит, все правильно.

— Кроме того, что я не та Нина.

— Вы не были позавчера в Концертном зале на ансамбле «Жуки»?

— Извините, не была.

— Вы были в белой юбке, синей кофточке.

— Позавчера я не была в белой юбке. Я никогда не была в белой юбке, потому что у меня нет такой юбки.

— Значит, то была ваша подруга, она, значит, подшутила надо мной.

— Возможно, разбирайтесь с ней.

— Но это же ваша подруга. Я ничего не знаю о ней, только этот телефон.

— Извините, я тороплюсь.

— Это некрасиво с ее стороны. Надо было прямо сказать, что мы больше не встретимся, не будет никакой Филармонии. Я понимаю, я ей не пара. Она вам говорила обо мне?

— Послушайте, как вас там, я знать не знаю, о ком идет речь. Мои подруги этим не занимаются.

— Чем — этим? Вы все занимаетесь этим. Прикинуться, выставить на угощение…

— Извините, мне некогда.

— Алло, Нина?

— Слушаю вас.

— Это Слава. Простите, ради бога, мы не договорили в прошлый раз…

— Нет, мы договорили.

— Потерпите две-три минуты, не вешайте трубку. Я хочу, чтобы вы знали, я никак не заслужил, чтобы так от меня она отделалась. Я человек невидный, не спорю. Я ниже ее по росту. На лицо тоже не получился. Зачем она мне стала доказывать, что ценит мужчин не по внешности. Ну, да ладно, бог с ней. Вы не подумайте, что она мне запала в душу, меня больше тронуло, что у вас нет белой юбки. Вы тоже, видно, неудачница. Я подумал, что минус на минус дает плюс.

— Вы же меня не видели.

— Я и не прошу увидеть. У меня другое, я бы хотел, чтобы было кому позвонить. Понимаете, нет человека противоположного пола, кто бы выслушал.

— Почему вы думаете, что мне интересно?

— Вы бы могли мне тоже звонить. Нина, я не нахал, если нет, так нет. Запрещаете — тогда точка. Расходимся. Я прошу, чтобы мог звонить вам хоть раз в неделю. Сегодня, например, меня побили во дворе. Шел с работы, трое мальчишек, один схватил за галстук и стал дергать вверх-вниз. Подростки. Надо было закричать, а я испугался, пырнут ножом. Стыдно, конечно.

— Ничего стыдного. Вы правильно сделали. Криминальная обстановка ужасная, у меня в метро сумку срезали.

— Давно?

— В прошлом месяце.

— Все же я вел себя не как мужчина. Даже рассказать никому на работе не могу. Позорно. Вот решил с вами поделиться.

— Нина, здравствуйте. Это Слава, знаете, я премию получил. Довольно приличную. Решил купить костюм. Не знаю только — джинсовый или же обыкновенный, темных тонов. А то все время чувствую себя каким-то задвинутым.

— Послушайте, Слава, вы звоните мне уже два месяца. Вы ни разу не поинтересовались, кто я, как живу, вы все о себе. Я в курсе всех ваших дел. По-моему, вы образец эгоцентрика.

— Это правильно. Я виноват, но я боялся, что вы отошлете меня, кто я такой.

— А посвящать меня в ваши костюмные проблемы — это что, для меня подарок?

— Нина, но вы ведь сами могли, я бы с удовольствием…

— Вы думаете, что скромность действительно украшает? Это придумали бездарные люди, чтобы им не мешали способные и добросовестные. Скромность — оправдание для трусливых. Не обижайтесь, Слава, но вы трусливый человек. Сердюков, о котором вы мне рассказывали, он взял ваш компьютер, и вы побоялись поспорить с ним, доказать, что вам нужнее. Вы страдаете, потому что вы теряете уважение к себе. Это опасно, Слава, надо бы вам преподать пару уроков.

— Я был бы рад.

— Поздно.

— Почему? Учиться никогда не поздно.

— Нина, хоть бы раз вы мне позвонили. Вы знаете, мне звонят, только если аварийный вызов на работу.

— Как же вам звонить, я не знаю вашего номера.

— Вот дурак. Я совсем того… Запишите, пожалуйста, 343 23 49. Совсем просто. Я все мечтал, что однажды вы позвоните. Судя по нашим разговорам, у вас, Нина, есть высшее образование и острый язык. Нет, мне это нравится. Конечно, по телефону я не так боюсь, если бы мы увиделись, то я бы не сумел защищаться. Я вам признаюсь, мне кажется, что вот такого человека я всегда искал. Подождите, я вам объясню. Хочется иметь человека, кому все можно рассказать. Хорошее, плохое, чтобы ему все интересно про тебя было, чтобы он слушал. Чтобы не стыдно было.

— Поэтому вы хотите иметь такого человека по телефону. Вам не кажется, что это стыдно?

— Почему?

— Потому что по телефону откровенничать, конечно, легче, но, думаю, это трусливо.

— Да… Наверное… Я боюсь, что та девушка, что в Концертном зале, видно, ваша подруга, она дала ваш телефон, потому что я ей совсем не показался. Я, наверное, и вам не подойду. Так что по телефону мне свободнее.

— Слава, это вы?

— Я, я, Нина, как хорошо, что вы сами позвонили. А я

раздумываю, а что если пригласить вас на концерт.

— Извините, что я прервала ваши раздумья.

— Да будет вам. А вдруг все кончится? Вы увидите меня и не подойдете. Вот что может произойти.

— Вполне. Так что не рискуйте. Может, действительно лучше так, как есть. Вы правильно говорили про человека, которому можно исповедоваться. Каждому хочется иметь такого. Он должен жить вашими интересами. Но что взамен? Вы-то сами что даете? Вы об этом не думали?

— Да я, ради бога. Что я могу, пожалуйста. Вы меня пропесочили за скромность. Женщины любят тех, кто понахальней. Те всегда выигрывают. Не умею я. Пробовал. Не умею. Вот вы меня насчет концерта тормознули. Мне бы надо прессинг применить, так ведь не могу.

— Это придется отложить.

— Почему?

— Я ложусь в больницу.

— Что случилось?

— Ничего особенного. В самом деле, зачем я вам позвонила?

— Ну вот, я так рад.

— Подождите, у меня ведь есть друзья. Испытанные, настоящие. Может, дело в том, что я вам нужна не так, как им. С ними у меня взаимная дружба. А вы единственный, для кого я средство от одиночества. Вы-то мне вроде ни к чему, я посмеивалась над вашими звонками, а оказалось… Это очень важно — быть нужной. Я подумала, что вам будет не хватать меня.

— Это точно, мы теперь должны…

— Да погодите вы, дело в том, что и мне будет не хватать ваших звонков. Такое вот признание.

— Можно я вас навещу?

— Пока не стоит. Я вам сама позвоню.

— Хоть бы увидеть вас издали.

— Вы говорите про туристскую поездку. Если все будет хорошо, может, действительно съездить в Финляндию. Близко и недорого.

— Это здорово.

— Я подберу маршрут. Я хочу тур на Север, в Лапландию.

— Да куда угодно.

— Здравствуйте, можно Нину к телефону?

— Здесь таких нет.

— Это 236 71 70? Здесь жила Нина.

— Может быть. Я въехала неделю назад.

— А что с ней, вы не знаете? Я уже звоню, звоню целый месяц. Никто не отвечает.

— Понятия не имею.

— Но как же так. Кто-то должен знать.

Мобильники и свечи

Приехал ко мне Борис Иванович Кудрин, москвич, давний мой знакомый. Он доктор наук, что-то возглавляет, преподает, кроме этого он выдающийся ученый-энергетик, известный как создатель новой науки «технетики». В двух словах: наша техника развивается, растет в соответствии с биологическими законами, естественный отбор, борьба за существование, мутации — все это свойственно технике. По этим законам развивается производство автомобилей, электромоторов, трансформаторов и т. п.

У него с годами возникла целая школа, он провел немало конференций, симпозиумов, добился того, что технетика помогает осмыслить процессы развития разных отраслей, предсказывать, проектировать производство.

Две трети территории страны сидит без света или с ограничениями, свет включают на 3–4 вечерних часа. Как так могло получиться? Обычный наш абсурд. Вернее — идиотизм. У нас в провинции работало в 60-е годы 160 000 малых электростанций. Хрущев их ликвидировал: «Нам нужны большие ГЭС!» Построили большие, малые разрушили. Остались средние. Их было 6500, и те сокращаются. Даже по дороге Москва — СПб, чуть в сторону — и попадаем в тьму. В Псковской области во многих пунктах нет надежного электроснабжения. Считается, что если за год перерывы составляют 120 часов, это ненадежное снабжение. «Советская власть + электрификация всей страны = коммунизм!» — был такой лозунг. Коммунизм отменили, значит, и все остальное.

Почему же ныне не развивают малую энергетику? Невыгодна. Выгодны большие ГЭС, «миллионники». Там есть «откаты», дорогие заказы, с загранфирмами контакты и вообще — размах!

Без света сидят от 10–20 миллионов граждан. Ничего, обойдутся, подождут… Ждут. Жгут керосиновые лампы, свечи. Это Россия XXI века!

Потребление электроэнергии показывает состояние промышленности, растет она? Борис Иванович вздыхает. Что бы там ни сообщала статистика, он знает — энергетика точнее. Или честнее.

— Но ведь должна быть поправка на энергосбережение, —

говорю я.

— Ничего у нас пока существенного не происходит.

— Почему?

— Как всегда, отговорка — «дорого».

Во всей Европе свет на лестнице включается автоматически, когда человек входит, отключается, когда ушел. В учреждениях, в гостиницах — всюду автоматика. У нас на лестницах свет горит и днем, и ночью. Автоматика окупает себя. Нет, пусть горит, светло и ладно, чего вам еще надо. Сберегать? Для кого? Чего ради? Вы извините, если речь о государстве, мне на него… Если у себя дома, можно подумать, у себя я заменил лампы на экономичные. А вот куда девать отработанные, это уж, извините, пусть начальники репу чешут, им наши денежки платят.

И тут разговор наш, полный горечи и жалоб на испорченность народа, свернул к неожиданному вопросу: а что техника, способна ли она помочь исправлению нравов? Есть ли в ней нравственная составляющая? Ведь она творение человека, и тот, кто создавал ее, он хотел не только прославиться, не только сделать что-то новое, необычное, нет, он хотел сделать для человека что-то хорошее, украсить жизнь, облегчить ее. Поднять человека — над землей на воздушном шаре, пусть полюбуется. Или автомобиль…

— Ну и что автомобиль, — не соглашался Борис Иванович.

…Стал ехать быстрее, чем на лошадях. Быстрота, может, и не давала нравственного элемента, дело было не в быстроте, автомобиль расширил пространство жизни, добавил радость.

Я вспомнил счастливое ощущение своей скорости, когда ты за рулем. Ты можешь, ты сильнее, чем был. Это хорошо или плохо? Наверное, во всякой технике есть и хорошее, и плохое. Интернет изменил нашу осведомленность, позволил найти новых друзей, школьных товарищей. Но появилось искушение вседозволенностью. И все самоощущение изменилось. Мобильники изменили одиночество…

Борис Иванович рассказал, что дочери его ежедневно звонят, узнают, как он себя чувствует, что ел, куда ходил. Он ощущает их заботу и то, что у них делается.

Родители звонят детям. Друзья могут чаще общаться. Люди стали больше разговаривать. Советская наша жизнь была молчаливой. Сейчас идешь по улице, прохожие то там, то тут, прижав мобильник к уху, идут и говорят, говорят.

Общение, даже телефонное, приносит много радости. Электронные книги. Телевидение, пусть дрянное, общее в дни Олимпиады, Спартакиады, оно соединило мир в одну миллиардную трибуну. TV, если захочет, может устыдить,

выставив плохой поступок перед городом или регионом. Может и прославить доброту, милосердие.

Избавление

Теперь, спустя годы, вспоминается полузабытое чувство, когда, узнав о пленуме ЦК, на котором сняли Хрущева, мы, где-то в полдень, ошарашенные, сошлись во дворе Союза писателей — Евгений Винокуров, Евгений Евтушенко и я, и потом долго еще сидели в ЦДЛ потрясенные — чем? Не просто фактом смены власти, но и тем, как это произошло — как с неба свалилось — было ощущение непривычное — нечисть дворцового переворота.

То, что я знаю, это знания снизу, впечатления рядового. Так же, как на фронте есть два разных видения и знания войны, одно — генеральское, оснащенное штабными сводками, картами, и солдатское — то, что приходит с обстрелом, с кухней, из окопа, в своем секторе. Это знание называют «окопной правдой». Она плохо стыкуется с генеральской, часто из окопа видится не то, но без этой солдатской правды нет правды войны.

Хотя мы называем семидесятые годы, вплоть до 1982 года, периодом застоя, название это отражает, скорее, рутинность в экономике, внешнее впечатление глади, в обыденном же сознании людей происходили изменения крутые.

Когда я впервые году в шестьдесят восьмом узнал, что хирург в больнице «берет» за операцию — не поверил. И все кругом не верили. Значит, этот врач урод, монстр.

Потом оказалось, что «берут» и в других больницах. Процесс шел постепенно. Узнавал, что берут при приеме в институт, берут за дипломы. Берут учителя, берут в райжилотделах за ордер, за обмен, берут за путевку в санатории… Люди приспосабливались к этим порядкам мучительно. И не привыкли, не хотели мириться, они знали от рождения, что медицина у нас бесплатная, это завоевание, которое свято блюлось врачами, что обучение у нас бесплатное, что мы должны «учиться, учиться и учиться», жилье почти бесплатное, никто не может нарушить великих завоеваний революции.

Приятель мой привез из туристской поездки приемничек — директору своему. Зачем? А освободилась должность ведущего инженера. И как же ты вручишь? А он сам просил…

Писали диссертации для нужных людей, писали им статьи, доклады, книги. Подношения большие и малые, торты, бутылки коньяка, затем ящики коньяка, духи — все это становилось бытом, нормой делового общения. В малом масштабе оно

отражало то, что творилось наверху. У нас пыжиковые шапки — там манто, у нас торты — там бриллианты. Взятки, поборы, вымогательства — все это ширилось, по всем городам и весям, разъедало все сферы служебной жизни, вплоть до милиции, армии, партийного аппарата. В министерства везли пакеты, ящики, а то и контейнеры. «А что я буду с этого иметь?» становилось основой решения вопроса для многих работников.

Менялось отношение к богатству. Становилось престижным иметь шикарную мебель, бриллианты, машину лучшей марки, дачу, словом, быть богатым. Одеваться не просто модно, а быть в «фирме». Прежнее небрежение к быту, коммунальщина, все уходило в прошлое, выглядело неудачливостью. Хорошо жить, жирно жить, богато жить, не обращая внимания, каким путем это приобретено… Социальная психология перестраивалась. Исчезала былая «пролетарская гордость», аскетизм, обыденное сознание ориентировалось на иные ценности. Приобретательство, роскошь хотя и осуждались пропагандой, но фактически этим занимались те, кто пропагандировал, и те, кто произносил обличительные речи, и те, кто возглавлял борьбу с хищениями, взятками.

Стало считаться проявлением заботы о детях устраивать их учиться за границу. Престижно, почетно работать не на родине, а за рубежом. И выгодно. Начальственные дети кончали Институт международных отношений, уезжали во всевозможные представительства, посольства. Вообще иметь за границей недвижимость — показатель наилучшего образа жизни. Поехать на месяц, на год — совсем хорошо.

Торговых работников, откровенных жуликов, принимали в лучшем обществе.

Что творилось там, народ не знал. Это только теперь открылись, и то со скрипом, преступная жизнь и деятельность Щелокова, Рашидова, Чурбанова, начинает проясняться о таких деятелях, как Бодюл, Кунаев, Медунов… Тогда о размерах бандитских операций, о подземельях Адылова понятия не имели!

Знали ли об этом в верхнем эшелоне власти? Вопрос, в котором испокон века таится холопская наша надежда. Может, и не знали, да какое это имеет значение? Должны были знать. Но не хотели.

С этого, как видно, все и начиналось. С лести, с возвеличиванья, что завешивало глаза и уши. Явление, которое мы называем «брежневщиной», окончательно оформилось, по-видимому, с того времени, когда М. А. Суслов провозгласил, что великая страна должна иметь великого руководителя. Этого будто ждали, тотчас аппарат с великой охотой принялся изготавливать Великого. Приемы, методика, традиции — всё еще

не заржавело. Дело было знакомое, приятное. Потому приятное, что сулило выгоду всем делателям и всем окружающим, ибо великий руководитель имеет и выдающихся сподвижников. Хрущева тоже пытались взгромоздить на постамент, нельзя сказать, чтобы он не поддавался. Поддавался. Как тут не поддашься, если подпевалы хором славят каждое высказывание. Но Хрущев имел характер непредсказуемый, бурный, он то и дело соскакивал с пьедестала. С Брежневым было куда легче и удобнее. Ему можно было создать и военное прошлое, и последующие подвиги… Тут я должен оговориться. Насчет достоверности его книг «Возрождение» и «Целина» сам судить не могу, зато первая книга «Малая земля» сразу же вызвала недоумение и протест. При всем уважении к политработе, не могло быть так, что самым героическим человеком в армии оказался начальник политотдела, другие не стали Героями, не были так отмечены за боевые свои подвиги. Обязанность начальника политотдела подписывать и выдавать партбилеты, руководить инструкторами, а не управлять войсками. «Малую землю» превратили в «Бородино», самого же Брежнева сделали стратегом, роль его в Победе сделали одной из ведущих. Никто не понуждал писать ему эти книги, славить их как литературные шедевры, не было нужды награждать их Ленинской премией: «событие огромного значения»; говорить, что «по популярности, по влиянию на читательские массы, на их сознание книги Леонида Ильича не имеют себе равных», что в них «каждое слово согрето кровью его сердца» и т. д.

Если бы подобное адресовали Сталину, упрекать за это было бы трудно. Могли заставить, тогда действовал искренний культ. Брежнев таких чувств не вызывал. Происходила бессовестная фальсификация истории. Хотели тоже получить звездочку, звание, должность, словом, что-то с этого иметь. И получали, Г. М. Марков, руководитель Союза писателей, вручал Брежневу Ленинскую премию за «Малую землю», а Маркову за это Брежнев вручил Героя Социалистического Труда.

Угодники и льстецы делали карьеры. Чем больше воровали в своих краях, министерствах, тем больше льстили. Льстили не от страха, льстили, не уважая, ради того, чтобы продвинуться, заработать себе право на безнаказанность. И выдвигались. Это поощрялось. Соревновались, изощрялись в подарках, сооружали к приезду высокого гостя триумфальные арки, выстраивали вдоль дорог шеренги счастливого населения. Додумались до переносных клумб, которые переносили вдоль очередной трассы. Чуть ли не траву красили. В расходах не стеснялись. Все меньше думали о нуждах людей, о нехватке больниц, жилья.

Строительство учреждений культуры не велось. Зато были построены сауны, тысячи больших и малых саун во всех областях, при комбинатах, управлениях для ублажения большого и малого начальства. Сауна — типичное сооружение периода застоя. И типичное времяпровождение — потеть, окунаться, попивать чаек, водочку.

Спаивание народа продолжалось, нарастало, об этом говорили, но практически не боролись, наоборот, торговля вином разворачивалась все шире, вино продавали повсюду, в любом кафе, столовой. На улицах выставляли лотки с винами. Атмосфера растления действовала все сильнее, не сдерживаемая сверху. Всё меньше думали о нуждах страны, всё больше о собственных.

Руководитель областного издательства рассказывал мне, как за несколько недель до Нового года начиналось изготовление эскизов для открыток с поздравлениями членам Политбюро. Отрабатывали каждому свою, отдельную открытку. Сочинялись тексты. Возили к секретарю обкома, обсуждали, что-то меняли, печатали, и, наконец, сам Первый рассылал. И так перед каждым праздником.

Трудно было привыкнуть к тому, что действительно великой страной могут руководить люди без высоких идеалов и принципов. Их тщеславие можно было удовлетворить разными медалями, звездами… Их вкусы… забивали козла, смотрели мультяшки, ездили на охоту.

Неважно, как они проводили время, читали ли что-нибудь (может, поэтому избегали встречаться с интеллигенцией), куда важнее, что с этим свыклись. Похоже, что такие фигуры, и сам Брежнев, устраивали прежде всего аппарат.

Армия чиновников всех ведомств художественной жизни была озабочена одним — чтобы были тишь да гладь. Никаких намеков, ничего острого, тяжкого, мрачного чтобы не было — ни страданий, ни трагедий, ни пессимизма… Не всегда у них получалось, но делали они всё, что могли: кромсали, вычеркивали, рубили, клали на полку. Бесчисленные редакторы, начальники управлений культуры, худсоветы, редсоветы блюли идейную чистоту, чистоту языка, художественную правду, потом все шло в цензуру, там опять всё выпаривали, выскребывали, проверяли на ощупь, на вкус… По «Блокадной книге» нам с Адамовичем цензура предъявила 65 требований! Удалить или изменить! Снимали картины с выставок — не тот пейзаж, не та корова.

Неслучайно некоторые художники не выдерживали, уезжали за рубеж, оставались там. Советское искусство за эти годы

лишилось многих талантливейших музыкантов, режиссеров, танцовщиков, живописцев, писателей. Имена некоторых из них сейчас украшают мировое искусство. Барышников и Тарковский, Ростропович и Шемякин, Эрнст Неизвестный и Бродский, Нуриев и Любимов. Список потерь наших велик и горек. В сущности, их выталкивали из страны. Никто из руководителей культуры не пытался остановить, спохватиться. Наоборот, вслед им раздавался свист, улюлюканье, изображали так, будто мы избавлялись от мешающего. Таков был уровень руководства культурой, искусством тех лет. От отъезда Любимова страдал зритель. Всего лишь зритель, ибо начальство театры не посещало.

Примерно такой же отток происходил и в науке. Уезжали ученые.

Буквально гонениям, порой издевательствам подвергали в Ленинграде Театр миниатюр Аркадия Райкина. Таким же гонениям подвергали Г. А. Товстоногова и его замечательный Большой драматический театр. Райкину запрещали номера, а то и целые программы, Товстоногову снимали спектакли, отменяли гастроли. За что? А ни за что, за то, что секретарю Обкома не нравился и тот, и другой.

Все самое талантливое, самобытное попадало в наихудшие условия. Грубость, хамство царили в обращении с лучшими силами города. Вынуждены были уехать в Москву Юрский, Панфилов, уезжали художники, музыканты… Люди писали жалобы, никто им не отвечал. И это в Ленинграде, что уж говорить о других городах страны.

Во времена брежневщины появились диссиденты. Сперва их окрестили инакомыслящими, а потом выискали иностраннее — диссидент. Несогласные с тем, что творилось, они выступали, пользуясь дозволенными и недозволенными способами.

Курс, взятый XX, XXII съездами, был сбит. Откат, начатый еще при Хрущеве, продолжался, разочарование росло. Утверждала себя показуха, погоня за цифрой. Воцарялся какой-то абсурд — заводы, казалось, работали на министерства, а не на потребителя, колхозы словно бы заинтересованы были в низком урожае и в непогоде. Милиция гналась не за преступниками, а за показателями. Строителей интересовало завысить стоимость, а не построить дешевле.

Чернобыль, пароход «Адмирал Нахимов», Афганистан — все это началось тогда, в те годы, так же, как и безумные, губительные проекты поворота рек и трагедия Байкала. Дыры стали прорехами. В 1982 году академик А. П. Александров, выступая перед комсомольскими секретарями атомных станций, говорил о том, что «при сооружении Чернобыльской АЭС не были

поставлены тройники после предохранительной системы. При испытании они дали трещины… Прочностные характеристики не выдержаны, вместо толщины стали 14 мм была поставлена 8–9 мм». Перечисляет он и другие огрехи строительства: «…в водных коммуникациях, например, были найдены гайки, металл, т. е. коммуникация не была промыта».

«На Кольской АЭС обнаружили, что из одного трубопровода толщиной в 40 мм идет пар. Вырезали дефектный участок трубопровода, отправили на контроль, и выяснилось, что какие-то „трудяги“ вместо того, чтобы заварить стык как полагается, уложили в разделку шва арматуру и залепили ее сверху. Потом такие стыки нашли и на других станциях».

А страна беднела и тощала. Начальники же доказывали, что потребление мяса, фруктов, масла, рыбы растет, все дело в том, что больше стали есть дорогих продуктов.

На цветной вкладке «Огонька» напечатали портрет новоиспеченного маршала Брежнева, главным там был тщательно выписанный голубоватый мундир со всеми звездами, медалями, орденами, отечественными и иностранными. Мундир, завешанный донизу, выглядел чудовищно. Но редактор знал, что делал. Холуйство было в цене.

Было грустно «за державу». Политика культа привела к своему фарсовому завершению, к манекену, изукрашенному всеми званиями и цацками, нечленораздельно изрекающему написанные, подсунутые кем-то пустые фразы…

По телевидению можно было увидеть сцены, казалось, немыслимые — как Брежнев награждал своего сына, как он произносил по бумажке простые фразы, в которых здоровался или прощался с приезжими главами других стран. Было стыдно и было непонятно, как можно терпеть такое. Ведь Хрущева не стали терпеть и сняли его, почему же тут терпели на виду у всего мира? Человек явно не способен был исполнять свои обязанности. Именно такое состояние устраивало окружение Брежнева, его помощников, его аппарат. Они, не жалея его, возили его в Ташкент, в Баку, подводили к микрофону… Смотреть со стороны на этого грузного, уже плохо говорящего и еле двигающегося человека было мучительно.

Странное это искусственное существование полуразрушенного человека порой вызывало сомнение — а жив ли он, кто двигает этим манекеном?

Кто же составлял окружение Брежнева, его штаб — Шелест П. Е., Суслов М. А., Кириленко А. П., Гришин, Кунаев, Черненко К. У., Пономарев Б. Многие имена уже вспоминаются с трудом, безликие, ничего не говорящие ни уму, ни сердцу. А ведь

каждый из них вершил судьбами республик, отраслей, политикой великой страны, жизнью народа.

Роскошно изданные сборники их речей, однотомники, двухтомники разнились лишь цветом переплетов. Живое слово их без бумажки, написанной референтом, не звучало. А когда звучало, вызывало общее изумление. Так, например, помнится, как Кириленко, когда его награждение очередной звездой Героя Труда передавалось по телевидению (1976), обнимая Брежнева, уверенно сказал, что семьдесят лет «для нас» самый, так сказать, расцвет сил и энергии, и мы еще поработаем!

Незыблемость этого старческого кабинета, откуда никто не собирался уходить по возрасту, действовала все более тяжело.

Образованием никто из них не отличался. Гришин, первый секретарь столичного горкома, окончил техникум, Черненко, уже работая завотделом ЦК Молдавии, окончил заочно Кишиневский педагогический институт, было ему тогда сорок два года. Меня же как фронтовика поражало, что никто из них не воевал в Отечественную. Все были в полной силе, мощи, все где-то «ошивались»: в институтах, заводах, министерствах, райкомах. Единственный вояка был Л. И. Брежнев, естественно, что он и выделялся этим среди своего окружения. Были представители старой гвардии, такие как А. Н. Косыгин, которого к брежневскому окружению относить нельзя. Такие фигуры, как Косыгин, мешали Брежневу, наводили на ненужные сравнения.

Во что обходится Победа

Однажды, было это давно, тридцать с лишним лет назад, я возвращался из Кубы и застрял в Амстердаме. Меня пригласил тогдашний посол СССР Пономаренко быть его гостем в ожидании рейса на Москву. Два дня я провел с Пантелеймоном Кондратьевичем Пономаренко. Первый вечер он водил меня по городу, расспрашивал про мою солдатскую войну, присматривался ко мне. Во второй вечер разговорился сам. В годы Великой Отечественной он руководил партизанским движением. Должность его называлась — начальник Центрального штаба партизанского движения. Будучи близок к Ставке Верховного, встречаясь с командующими фронтов, он много узнал. Попав в Голландию, он начал работать над историей Великой Отечественной войны. Поставил он себе задачу совершенно необычную по тем временам, я бы сказал, крамольную, поэтому взял с меня слово помалкивать. Он рассматривал историю военных операций с точки зрения потерь

воюющих сторон. Оценивал действия наших армий, командующих по потерям, которые они несли. Успех продвижения, с учетом того, во что это обошлось — убитыми, ранеными. При таком подходе, как убедился Пономаренко, совершенно иначе выглядят наши прославленные полководцы.

Признаюсь, подобные рассуждения поразили меня. Всю войну, а я провоевал почти все четыре года, я провел в твердом убеждении, что защищать рубеж надо до последнего человека, не считаясь с потерями, двигаться вперед, наступать надо любой ценой. Главное было выполнить приказ, не важно, что это будет стоить.

И после войны мы все годы жили, упоенные Победой, оценивать же ее в жертвах считалось чуть ли не кощунством. Когда Булат Окуджава пел:

Нам нужна одна победа,
Одна на всех,
мы за ценой не постоим… —

в этом была великая правда той нашей поры, так мы продолжали думать, поскольку наши генералы, наши начальники потерь не считали, Победа все спишет и, как нам доказывали, она, мол, окупит любые потери. Сейчас упрекают Окуджаву за эти строчки; но те, кто воевал, те пели и допевают эту песню с гордостью. В том-то и ужас был, что мы, солдаты, которыми жертвовали, которых бросали в бой не считая, мы принимали эту подлую арифметику как неизбежную.

Не знаю, дописал ли П. К. Пономаренко свою историю войны, какова судьба ее. По-моему, она не дошла до печати. Но с того часа я по-иному стал видеть собственную войну, пусть малый ее участок, извилистую трассу моего отступления, а потом и наступления. Увидел совсем по-другому своих ротных, своих комбатов, полковников, геройских командиров, увешанных орденами, упомянутых в приказах Верховного, некоторые отодвинулись в тень, уступили место совсем другим командирам. Тем, кто берег солдата, воевал хитростью, жалел людей, а не снаряды.

1991

* * *

И женщины, и мужчины были крутом того самого **призывного** возраста, когда обязательно примериваются друг к

другу и когда возникают неслышные призывы.

* * *

Если б я знал «до» так же, как моя жена знала «после»!

* * *

Тот, кто понимает, как надо писать, на самом деле этого не понимает. А тот, кто не знает, как надо писать, тот понимает.

* * *

Он сидел смотрел телевизор, потом явился, спрашивает, где мама.

— Ушла в магазин.

— Что ж ты мне не сказал, что она уходит.

— А зачем?

— Я бы поплакал.

Языческие радости!

Эта девка скважина
Ханурик
Смердюк
Смефуечки
Мудошлеп

Шмара
Фря
Шалава
Баба с яйцами
Слаба на передок

Паскуда
Стервец
Шлепало

Небольшое насекомое, то, что в нашем ухе изготовляет букву «Ж».

Трава, деревья и все, что движется между нами в зеленой шерсти земли.

Чурка долбаная

Спирт технический — «хищенка»

«Я люблю тебя, жизнь,
Но не знаю, что это такое»

Рапортун
Хмырь
Он сечет

* * *

Как-то я разговорился с Дорой Абрамовной Лазуркиной, имя хорошо известное в шестидесятые годы. Участница Октябрьской революции, просидела в лагерях свои семнадцать лет. Это она на XXII съезде партии предложила вынести из мавзолея Сталина, ибо он «грубо нарушал ленинские нормы…». Съезд принял ее предложение. Разумеется, все это было заранее с ней оговорено, во всяком случае она пошла на это, а вот когда друзья сообщили ей, что следователь, который избивал ее, пытал, издевался над ней, жив-здоров, благоденствует и хорошо бы подать на него в суд, организовать показательный процесс на всю страну, чтобы осуществилось хоть какое-то возмездие, чтобы какая-то справедливость предстала перед тысячами безвинно осужденных, тех, что возвращались из лагерей, — не согласилась. Таких процессов не было, одни боялись связываться с органами, прокуратурой, другие вернулись сломленными, хотели лишь покоя. Лазуркина же была исполнена боевым духом. Все данные для успешного процесса имелись, но Лазуркина подавать в суд отказалась. Я спросил ее — почему?

— Потому что на таком процессе пострадает авторитет нашей партии, — твердо заявила она.

И ничто не могло переубедить ее, ни разоблачение культа, ни беззакония не поколебали ее веры в правоту дела партии Ленина. Такая религиозная истовость владела ею.

* * *

Считается, что Гоголь знал Россию. Да откуда? Значительнейшую часть своей жизни, в годы расцвета своего таланта, жил он в Италии, а если знал Россию — разве что Петербург да Москву. И вот что примечательно, этого ему хватало, его проникновению в русскую жизнь, причем в провинциальную жизнь. Шло это не от изучения материала, а каким-то своим особым путем, пробивалось через тропы, ведомые его гению. Возможно, глубокое знание предмета — оно порабощает. Гений извлекает правду из малого. Да и не только гений, талант — он тоже не требует «ближе к жизни», эта близость часто мешает. Об этом хорошо писал Варлам Шаламов.

Когда я работал над романом о Петре Великом, меня удручала огромность материала, я понял, что она не даст мне свободы. Однажды я все отбросил и стал сочинять. Поначалу было боязно, я подбадривал себя высказыванием Тынянова: «Писатель начинается там, где кончается документ». Но я и до конца документа не доходил. Я открыл себе область жизни Петра, куда историки не заглядывали, куда они и не хотят, у них на то свои страхи. Сугубо личное: семейные дела, любовные неудачи, причуды характера, обиды и т. п.

* * *

Работая, он не испытывал потребность видеть перед собой будущего читателя, он не имел его в виду, не представлял себе, поймет ли он или не поймет. Он чувствовал себя дирижером, который должен стоять спиной к слушателю, к читателю, и лицом к оркестру, т. е. к своим героям. Перед ним должно происходить действие, вызванное им к жизни, и только это действие поглощало все его интересы и внимание, только это занимало его полностью, без оглядки на читательское мнение, моду, ее запросы. И когда он заканчивал свой рассказ или очерк, его тоже не интересовало, как они приняты читателем, появлялось просто удовлетворение от окончания работы.

Мои немецкие друзья

Криста Вольф останется в истории немецкой литературы как пример сопротивления писателя в тисках коммунистического режима. Ее место более прочно, чем у других, место в истории, место как пример другим, может, более крупным писателям. Ее книги мне кажутся талантливыми, написанными без оглядки на

цензуру, свободнее, чем многие наши, в том числе и мои. В ГДР власти ее побаивались. Может, поэтому она не уезжала в ФРГ. Талант делает писателя левшой. Хочет он или нет, его всегда тянет влево.

Поэт Стефан Хермлин говорил, что у него никогда не было врагов, которых он заслужил. Всегда была какая-то мелкая, лживая нечисть.

Один писатель ему при мне сказал: «Тебе, Штефан, хорошо, ты можешь свободно выступать против Хонеккера, ни тебе, ни Анне Зегерс ничего не грозит. Купил билет на электричку — и в Западный Берлин за 20 пфеннигов. Вам все можно. И Кристе тоже. Вы льготные писатели, привилегированные».

О русской душе

Несколько забавных рассказов немцев про русских. Все они из серии «За что мы любим русских». Серия же эта родилась, когда шел разговор о пресловутом понятии «русская душа». Немцы уверяли меня, что понятия «немецкая душа» не существует. И тем более «французская душа», «английская душа». Как же они обходятся? А вот так, раз понятия такого в народе нет, то, вполне возможно, и в наличии не имеется. Не проявляет себя. А у русских проявляется. Хорошо это или плохо? Как для самих русских — об этом немцы судить не берутся, но их, немцев, проявления души трогают. Они воспринимают ее действия с некоторой тоской и печалью, как собственный недостаток. Увечье, что ли. Или обделенность. Хотя рассказы их были… мм-да.

Рассказ первый

В первый послевоенный год в Берлине идет немец-рассказчик по улице, навстречу американский солдат. Да, немец тот, между прочим, идет на работу, где требуют являться минута в минуту и даже надо в такое-то время делать то-то и то-то. Солдат останавливает его, говорит — покажи левую руку. Немец показывает. На руке часы. Американец говорит — снимай. Делать нечего, не поспоришь, у солдата автомат и вся власть. Снимает, отдает. Тот в карман — и привет.

Вернулся немец с работы. Что делать. Надо доставать часы. Без них не обойтись. Туда-сюда, выпросил у матери. Идет на работу, встречает советского солдата. Тот останавливает его:

покажи левую руку. Видимо, таков был тогда прием у всех союзников. Показал. Снимай часы. Приказ есть приказ. Снял. Русский взял, ушел.

Вдруг кричит — эй! Догоняет, говорит сочувственно: «Бедные вы, фрицы», обнял и пошел своей дорогой. Часы не отдал, но ведь пожалел!

Рассказ второй

Поезд Париж — Берлин. Послевоенная публика. Немец в потрепанной военной куртке открывает большую бутылку коньяка. Арманьяк, угощает всех в купе. Рассказывает, как французы подарили ему эту бутылку. Коньяк отличный, стаканчик ходит по кругу, все чмокают, наслаждаются, расхваливают. Доходит до тетки, француженка-толстуха, она выпивает и кричит на солдатика:

— Как тебе не стыдно. Тебе подарили, чтобы ты домой привез, а ты тут кому попало наливаешь. Пустую бутыль привезешь, бездельник ты непутевый, это же дорогой коньяк.

В таком духе честит его.

Он, бедняга, виновато вздыхает, берет бутылку, смотрит на остатки:

— Это русские. Они в лагере, все, что достанут, разливали, раздавали.

— Дурацкая привычка, — говорит француженка.

— Дурацкая, — соглашается солдат и разливает остатки.

Рассказ третий

— У меня квартировали русские офицеры. Верхний этаж дома занимали. Веселые парни. Ухаживали за двумя моими дочками. Нет, ничего плохого не позволяли. Просто веселились. Молодежь. Песням учили советским.

Однажды Первое мая справляли. Пришли их товарищи. Пирушка была, мои дочери танцевали, играли на пианино. Напились, конечно, потом под утро выбросили пианино в сад со второго этажа. Места им было мало. Мне дочери говорят — наши, говорят, никогда бы не решились. Говорят с восторгом. Вот как умеют гулять. Я на них не сердился, если у них так принято.

Если к этому сводится душа… но есть в этих рассказах, может, глуповатых, может, ироничных, есть тайная зависть, так

что не стоит обижаться.

Письмо В. Гинзбургу

Дорогой Виталий Лазаревич!

Пафос Вашей статьи «Разум и вера» в защиту атеизма — и симпатичен, и своевременен. Раньше мы защищали свободу совести как свободу верить в Бога, ходить в церковь и т. п., ныне все перевернулось, и наша привычка к крайностям привела как бы к осуждению атеизма. Вера в Бога становится чуть ли не гражданской обязанностью. Так же, как еще недавно советский человек должен был верить в торжество коммунизма, в превосходство советского строя, в справедливость партийной линии. Мы без запинки перешли от одной веры в другую, которая опять стала принудой. Религия, нет, даже не религия, а церковность обрела властные черты. Рядом с патриархом «справляет службу» Лужков, а то и Ельцин, тут же стоят молятся министры и прочие начальники, все надели кресты, все бьют поклоны. Рясы священнослужителей превращаются в государственные мундиры. Нательный крест, подобно партбилету, стал чуть ли не свидетельством идеологической благонадежности, «я истинно православный, я с вами, господа начальники, я член партии, верующий».

Меньше всего среди этих новообращенных тех, кто обрел Бога в результате трудного, мучительного поиска, переосмысления своей жизни.

Конечно, у каждого свой путь к вере, иногда странный.

Чего только не бывает. Вспоминаю свой разговор с Г. М. Маленковым, незадолго до его смерти. Меня с ним познакомили его сыновья, биологи. Они привели меня к нему домой, и мы с Маленковым уединились.

В разговоре с ним я узнал, что он ходит в церковь, что он член церковной десятки, и что при этом пишет какую-то работу о Ленине, конечно, апологетическую. Маленков — верующий. Тот самый Георгий Максимилианович Маленков, второе лицо в стране при Сталине, который в 1949 году принимал участие в пытках Вознесенского, Кузнецова и других участников «Ленинградского дела». Он создает особую тюрьму — «Матросскую тишину», организует подслушивание высшего командного состава. В замечательной книге Р. Пихоя «Советский Союз: История власти» описывается, как Маленков лично спрашивал И. Федосеева, одного из охранников Сталина, как из него выколачивали нужный Маленкову компромат. И вот этот

деятель ныне ходит в церковь, бьет поклоны. Почему? Страх? Хочет отмолить грехи? Может быть, надо было спрятаться от угрызений совести? Где он мог спрятаться? Спрятался в церкви.

Исследовать его мотивы не берусь, человек слишком сложное явление, чтобы так, с ходу, его решить, как уравнение.

Второй пример. Известный наш эмбриолог П. Г. Светлов рассказывал мне, как он пришел к вере. Пришел поздно, в расцвете своей научной деятельности. Изучая развитие эмбриона (человека!), понял, что никакими законами науки появление жизни понять не удается. Принципиально недоступно. Что перед ним божественный феномен. И поверил! Мало того, понял, что вера его нуждается в церковности, в обрядности. Доктор наук, лауреат Госпремии, создатель школы и т. д. ходил в церковь.

Я хорошо знал двух замечательных биологов — А. А. Любищева и Н. В. Тимофеева-Ресовского. Оба люди европейской культуры, образованы они были блестяще, отнюдь не замыкаясь в своей специальности, знали и математику, и физику, и химию на уровне нынешнем. И оба по-разному были верующими. Были привержены религии. Тимофеев-Ресовский много общался с Александром Менем, с отцом Александром Борисовым, причастился перед смертью. Согласно его воле, служили панихиду, хоронили его по церковному обычаю. Нет, это не дань традициям, это была искренняя вера. Она поддерживалась, как мне кажется, его научной работой, его проникновением в тайны генетики, его благоговением перед совершенством природы.

Н. В. Тимофеев-Ресовский отвергал физико-химические теории происхождения жизни. Для него, как и для многих больших ученых, жизнь не сводится к материальным процессам. Тысячи лет тайна живого не разгадана, и, по-видимому, не случайно. Успехи биологии нисколько не продвинули науку к разгадке. Крупнейший наш цитолог В. Я. Александров всегда считал, что у клетки есть душа.

Существует немало безответных вопросов в нашей духовной жизни — что есть совесть? Откуда она, зачем она человеку, от нее ведь никакой же пользы, ни помощи.

Несомненно, существует проблема наличия души у человека, проблема добра.

Как только мы обращаемся к внутреннему миру человека, наука смущенно отступает.

Я боюсь, что мышление самых крупных физиков Вашего масштаба иногда удовлетворено или ослеплено триумфами физики. Впрочем, и гуманитарии страдают тем же. Вы, наверное, вправе иронизировать над их средневековым уровнем в

отношении естественных наук, но они могут ответить тем же. Физиков ведь тоже можно стыдить невежеством в истории цивилизации, истории искусств, происхождения языка, в проблемах синергетики и т. п.

Почему великие философы, такие как Шопенгауэр, Кант, Хайдеггер и другие, были верующие? А также Л. Толстой, Достоевский, Пастернак, А. Ахматова. Можно перечислять одного за другим западноевропейских писателей вплоть до Г. Белля, А. Камю, Рильке… Впрочем, нет смысла ссылаться на авторитеты. Религия питала и питает литературу, искусство не просто своей поэтикой, она неслучайно всегда служила источником вдохновения величайших художников-гуманистов. Религия для великих художников составляла предмет их исканий, открытий, терзаний, сомнений. И у И. Баха, у Рахманинова, у Достоевского и у Толстого она пронизывает их произведения. Вспомните внутренние конфликты «Братьев Карамазовых» или «Воскресения».

Библейские сюжеты для Рембрандта, Микеланджело не сюжеты картин, они выражали свою веру, утверждали ее. Уберите религию из искусства, лишите художников веры — и свет искусства погаснет.

Есть же великие поэты, композиторы, писатели у атеизма? Наверно, однако я предпочитаю верующих.

Вас восхищает то, как далеко шагнула наука за четыре столетия. «Религия же (конкретно — христианство), пишете Вы, по существу, осталась той же, что и два тысячелетия назад».

Ну и что из этого? Плохо это или хорошо? Человек ведь тоже остался тем же. Человек не изменился. Мы так же воспринимаем и красоту, и зло, и добро, как люди античности. Мы так же чувствуем гений Гомера, и Овидия, и Софокла.

Детство человечества, по справедливому мнению Маркса, обладает для нас вечной прелестью. Прелесть эта воспринимается, потому что в нас неизменна наша суть — душевная, духовная, вложенная в нас душа, как угодно называйте, наш ум, наша система чувствований.

А что касается науки, то успехи ее ничто в сравнении с пространством непознанного. Я думаю, за четыре столетия видимое это пространство увеличилось… Там, в туманных далях Неизвестного, всегда будет обитать некто — Творец, провидение, Всевышний… Познание не оттесняет его, не мешает ему. Самомнение, какое оно порождает, нелепо, на самом деле успехи науки должны порождать смирение и восторг перед гармонией природы. Чем больше мы ее познаем, тем больше можно восхищаться ее мудростью, и тем меньше у нас оснований

кичиться своим разумом. Было бы полезно обнародовать перечень заблуждений Разума, Глупостей и прямых его преступлений. Думаю, там тоже есть постыдные для науки юбилеи и события. Вспомните, как наука обошлась с Менделем, вспомните Чернобыль. Вспомните, в каком одиночестве Вы помогали ссыльному А. Д. Сахарову, как трусливо отступилась от него ученая братия. Культ разума так же опасен, как и культ Веры.

Знание и впрямь растет, все быстрее сменяются парадигмы, сменяются эры цивилизаций, процессы убыстряются, и это воспринимается как прогресс. Куда мы мчимся?

Ученые уверены, что чем больше знаний, тем лучше, они, мол, полезны человеку, они дают обществу больше власти над природой.

Куда ведет эта гонка науки?

Человечество не испытывает недостатка в знаниях, оно испытывает недостаток доброты.

Человечество все более нуждается в производстве доброты. Нуждается в понимании единства.

Наука лишь отчасти помогает этому. Наука вынуждена служить войне, гонке вооружения, шпионажу, а значит, разобщению народов.

Ваш атеизм, Виталий Лазаревич, не случайно славит науку, однако я не уверен, что культ науки жестко связан с атеизмом. Думаю, что и религия может отдавать должное науке, способствовать ей. Наука открывает перед человеком чудо Природы. Наука в этом смысле убедительна, неопровержима.

Свобода совести не требует непримиримой борьбы атеистов с верующими. Они вполне могут уживаться, и, может быть, плодотворно. Подобное бывает в душе человека.

Примите это письмо не как полемику с Вами, а как размышление, вызванное Вашей интересной статьей.

Ваш Даниил Гранин

8 сентября 1999

Дорогой Даниил Александрович!

Очень был рад получить (7.IX) Ваше письмо по разным причинам, в частности, Ваше мнение мне подлинно интересно, ибо я практически не взаимодействую с людьми Вашего типа (кстати, к сожалению, в письме нет страницы 2, и я так и не узнал об «обращении» (?) Маленкова; пожалуйста, пришлите мне эту страницу).

Хочу сделать несколько замечаний, конечно, в чем-то повторяющих мою статью (см. также прилагаемую заметку из «Поиска»)[1].

Я считаю очень важным различать веру в Бога и религиозность. Под последней понимаю искреннюю принадлежность, скажем, к христианству — принятие легенды о Христе, воскресшем сыне Божьем, вере в загробную жизнь, рай, непорочное зачатие и т. п., принадлежность к Церкви, молитвы и т. д. Такую веру я считаю в наше время просто дикостью. Вера в Бога несравненно шире. Бог Спинозы и Эйнштейна это совсем другое. Тут я очень терпим, хотя сам и считаю, что ничего, кроме природы, нет. Вопрос о происхождении жизни и сознания (мышления) — это научные проблемы, еще не решенные. Правда, на пути их понимания сделано уже очень многое. На физическом языке речь идет о редукционизме. Кое-что об этом говорится в конце моей прилагаемой статьи (извините, если посылаю ее Вам вторично, просто не помню, послал ли в прошлый раз). Как Вы увидите из статьи, я здесь осторожен, и хотя мое «интуитивное суждение» (или попросту говоря, вера) свидетельствует в пользу возможности редукции, я допускаю нечто более сложное и даже совсем неожиданное. Поэтому у меня и нет никакой агрессивности по отношению к верующим; вполне согласен, что атеизм «не требует непримиримой борьбы атеистов с верующими».

Итак, если говорить о вере в Бога (типа деизма и т. п.), то здесь есть глубокая проблема. Но поражает меня полная бесплодность, пустота религии даже «в руках» такого человека, как Иоанн-Павел II (см. его энциклику [I] и ссылку [22] в моей статье «Разум и вера»). Кроме слов с большой буквы, они же ничего не предлагают, у них нет никаких аргументов. Что касается этических и нравственных советов или указаний (не знаю, как сказать), проповедуемых религией, то все положительное здесь полностью доступно и понятно атеисту. Чтобы не подличать и т. п. и т. д., вовсе не нужно верить в Бога, а тем более в Библию, религиозные догмы и «учения». История религии (того же христианства, с другими религиями я мало знаком) не чище истории фашизма и большевизма. Наша РПЦ с ее борьбой со староверами и т. п., с ее сергианством, с гнусным и позорным служением КГБ, с ее современными грязными служителями (я знаю много примеров) просто отвратительна. Я и не собирался ввязываться в богословие и споры с этой мразью <…>, но нельзя же молчать. Молчание атеистов у нас это просто позор, ибо продукт страха и беспомощности.

Другое дело, что атеизм сам по себе еще недостаточен для противопоставления религии, он ее отрицает, но не может до конца (а может быть, и в значительной мере) заменить. Он (атеизм) не дает же ответов на упоминаемые Вами вопросы: что

есть совесть, откуда она, зачем она человеку? Я мало думал об этом и не знаю удовлетворительных ответов. Попытку дать их делает секулярный (светский) гуманизм. Это движение, по-видимому, имеет немало сторонников на Западе, а у нас пропагандируется группой философов и примкнувших к ним, издающих на философском факультете МГУ журнал «Здравый смысл». За границей «вождь» этого движения некий P. Kurtz, у нас проф. МГУ В. А. Кувакин. Если Вы захотите, я могу связать Вас с последним. Сам я стараюсь им помогать, хотя возможности мои невелики. Как-то влезать глубже в это дело нет сил и охоты.

Я, как видите, сразу отвечаю на Ваше письмо, такая у меня манера. Плата за это — разбросанность изложения, поверхностность. Но я буду рад ответить (вернее, постараться ответить) на любые Ваши вопросы и вообще обмениваться мнениями.

С лучшими пожеланиями,

Ваш

В. Л. Гинзбург

9. IX. 1999

(прямо мистика чисел 9.9.1999)

Дорогой Даниил Александрович!

Я оставил вчера в Институте печатать письмо Вам (сам не умею печатать, а учиться поздно), а сегодня получил от Вас с. 2. Спасибо. Вероятно, завтра, когда пойду в Институт, письмо будет уже напечатано, и я не стану его переписывать. Лучше напишу новое. Кстати, есть повод — вчера мне подарили книгу А. Меня «История религии» (Москва, 1999). Раньше я Меня не читал, читал только ругань в его адрес православных деятелей (см. ссылку [15] в моей статье «Разум и вера»). Этот еврей-христианин Мень прямо белая ворона среди этой черной православной братии. Точнее, конечно, там (в этой братии) все есть: и черное, и белое, как и везде в жизни. Но в целом, признаюсь, они мне противны, хотя и понимаю, что так относиться нельзя, и в этой православной среде имеются вполне приличные люди. Да что говорить, даже в нашем Отделе теорфизики им. Тамма (он — Тамм, был безусловным атеистом) имеются активные православные. Мень был очень образованным человеком, но опять все то же — мистика, тайна, иррациональное. Мне понятно возникновение и развитие, если можно так выразиться, религии в древности, да и вообще до последних двух-трех веков. Наука находилась в таком состоянии, что и мечтать было трудно об объяснении возникновения жизни из неживого, не говоря уже о

сознании и мышлении. Но сейчас совершенно иная ситуация. Происхождение жизни мне кажется уже на грани понятного, и я не удивлюсь, если скоро будет создана «жизнь в пробирке». В отношении сознания мне ситуация менее ясна, но тоже видны пути-дороги к пониманию. На эту тему Д. С. Чернавский написал для УФН большую статью, он квалифицированный человек (обсуждал, кстати, эту проблематику с Тимофеевым-Р.) и настроен очень оптимистически — надеется на полное торжество редукционизма.

Но не в этом дело. Главное, по моему мнению, это полная бесплодность религии в ее попытках и претензиях «познать истину». Наука старается объяснить происхождение жизни и механизм дальнейшей эволюции организмов. Да, цель еще не достигнута. Какой-то комар так сложен, что понять, как он развился даже с уровня бактерий, очень нелегко (мне лично неясно, но Чернавский считает, что вполне ясно). Перед лицом такой сложности даже некоторые крупные биологи привлекают Бога, он «создал», и все. Я считаю это просто капитуляцией перед непознанным, вера (Бог) абсолютно не приближает к пониманию естественно-научных истин. В области же этики, морали и вообще всего человеческого научно-аналитический подход так сложен, что привлечение гипотезы о существовании Бога кому-то помогает, как им кажется, что-то понять. Мне совершенно не помогает. Повторяю, привлечение Бога в качестве какого-то «объяснения» чего бы то ни было это капитуляция перед деятельностью разума, опять же пресловутое «верую, ибо нелепо», или псевдообъяснение.

Итак, по моему мнению, религия (скажем, христианство), понимаемая буквально, полностью (скажем, вера в воскресение Христа, рай и т. п. и т. д.) не лезет ни в какие ворота, это в наши дни просто дикий пережиток, по сути дела, не лучше астрологии и другой лженауки и шарлатанства. Вера в Бога в деистическом смысле или, попросту говоря, как в существование какого-то Разума, находящегося за пределами (что это значит?) известной нам природы, это уже нечто другое. Здесь нет прямых противоречий с наукой и это нельзя опровергнуть. Но это (иррациональная вера неизвестно во что) представляется, повторяю, совершенно бесплодным для понимания еще непонятого, для прогресса.

Художественные натуры находят в вере (во что конкретно — не знаю) какие-то стимулы, помощь (опять же не понимаю какие). Вот здесь я пасую, и очень хотел бы узнать Ваше мнение. Какое-то у меня чувство неудовлетворенности как раз (и особенно) в этой области, я хотел бы понять, что же Бог (и какой Бог) дает

разумным людям.

Ваш В. Гинзбург

P. S. На с. 2 я не понял о Маленкове: он спрашивал или допрашивал Федосеева, т. е. в какой мере и форме сам «выколачивал» компромат.

P. P. S. Только написал письмо, как увидел в «Известиях» (сегодняшних, от 9 сент.) фото с Вами в статье о Каргополе, сообщение о годовщине убийства Меня и, наконец, беседу с биологом Л. Киселевым (если не ошибаюсь, это сын известного Вам, вероятно, Льва Зильбера). Ради этой беседы и дописываю — Тимофеев и Любищев вряд ли предвидели такой быстрый прогресс. В естественном происхождении жизни Киселев уже не сомневается и, вообще, замечает, что «в науке места для Бога нет». Но добавляет: «Иное дело — в духовном мире человека, в нравственных нормах. Без веры в высший смысл жизни, мне кажется, человек не может жить. Но это категории ненаучные». Не знаю, искренен ли он или боится обвинения в немодном сейчас атеизме и оставляет Богу «поле деятельности». Думаю, что, по существу, это не выдерживает критики. Если создание сложнейших живых организмов (человека в том числе) обошлось без Бога, то почему он оказался нужен для «объяснения» высшей деятельности мозга? О смысле жизни думает лишь небольшая часть населяющих Землю людей, и во всяком случае значительная их часть живет без всякой веры «в высший смысл жизни». А те, кто задумывается на этот счет и не знает ответа, иногда цепляются за религию, за чисто мнимое религиозное «объяснение». Ответа (вполне уверенного) и я не знаю. Думаю, однако, что какого-то особого «смысла» просто нет. В ходе эволюции появился человек, возникло человеческое общество. Оно развивается по законам, которые, увы, мы не очень хорошо понимаем. Вот и все.

Ваше письмо и мой ответ я собираюсь показать моему ближайшему другу Евгению Львовичу Фейнбергу (надеюсь, Вы не будете возражать против этого). Он глубже меня понимает все это, больше думал на такие темы. Я нарочно не покажу ему письма до отправки, ибо хочу отразить свое собственное мнение, без влияния его критики, его мнения. Так интереснее, а если пойму, что не прав, то буду только рад согласиться с более совершенным пониманием.

<…> Если найдете время, будем рады Вас видеть.

* * *

Найти виноватого у нас невозможно. Комитеты, организации, отделы, фонды — система из множества механизмов, в которой никто не в состоянии разобраться. Она всех устраивает, всех укрывает. Ответственного нет. У каждого есть бумаги, подзаконные акты, инструкции, ссылки — все для безопасности.

* * *

Есть внутри сливы косточка, и что бы со сливой ни делать, все равно из этой косточки вырастет слива. Непогода, почва плохая что-то изменяет, немного, так и в человеке.

* * *

16 июня 2010 года в Петергофе открыли восстановленную царскую ферму «Фермерский дворец» Александра II. По-видимому, задуман он был для детей царя, знакомить их с сельской жизнью. Великолепный большой участок. Сам дворец не дворец, без пышности, зато все со вкусом. Много фотографий, портретов. Наследника, да и остальных детей.

После

Лес черный, сизый, как грузная туча. Плывешь на озере, и позади остаются от весел воронки, тянется гладкий след на шершавой воде. Он виден долго. День серый, теплый, где-то гремит сухая гроза, длинные, нестрашные молнии падают в лес. Лиловый блеск гаснет в воде. Вдруг нас нагоняет дождь, он рушится на озеро стеной, это ливень, он лупит, лупит воду с такой силой, что вверх поднимаются большие водяные гвозди и также внезапно исчезают. Сосны разом поседели, в длинных иглах завязли капли, дождь кончился, а лес еще долго отряхивается. Листва шевелится от капающих капель, они стучат в лесу шумно.

После дождя в помутнелой воде играет рыба, она выскакивает над поверхностью то там, то тут. Взблескивает чешуей уклейка, плотвичка, они прыгают вокруг плывущих сучков. Говорят, рыбе не хватает кислорода, но мне явно ощущение игры, какой-то непонятной, веселой рыбьей игры.

Воздух словно выстиран. Черная спина дороги, красные стебли гречихи, голубая пшеница, сизые овсы. Вечерняя мошка,

избы, которым по сто лет, рыбачьи лодки в оборванных камышах. Пахнет земляникой, смолой, дикой гвоздикой.

В траве бурная жизнь. Председатель словно звонит в колокольчики, обрывая грубую речь навозного жука, стрекочут кузнечики, нарушая регламент, не в силах остановиться, вежливая речь божьей коровки…

* * *

Самая большая потеря для человека — несчастное детство. Мое детство было счастливым. Я своему детству благодарен. Я живу с ним до сих пор. Оно помогало мне с внуком. Я вспоминал себя и старался терпеливо отвечать на его «почему? как? зачем?». Понимал, что ему нужно упрямиться, делать по-своему. Кажется, мой отец тоже это понимал. Чувства к сыну и внуку разные. Внук — любовь напоследок, самая сладкая, с горьким вкусом — не дожить, не узнать, как у него сложится.

У меня не было дедушки. Мой отец был старше мамы на двадцать три года. «Твой дедушка», — говорили мне одноклассники. Я обижался. Зря. Он заменял мне и отца, и дедушку.

На самом деле он был еще крепок, силен, мать совсем молоденькая, я между ними — две любви, два теплых, разных тока, они вздымали меня, я парил, какое счастье бежать под их взглядами, прыгать, карабкаться. Отец любил меня терпеливей, нежнее, мать строже. Работа в лесу разлучала нас, и когда летом он получал меня, он наслаждался отцовством.

Потом его выслали, потом сделали «лишенцем», осудили так, что он не мог жить в больших городах. Лес помогал ему. В лесу было все равно, «лишенец» он или полноправный гражданин.

Родных у нас не было. Как я теперь понимаю. Родители скрывали про них, наверное, потому, что они жили за границей. У мамы — где-то в Прибалтике или в Польше. У отца — не знаю, но какая-то часть его молодой жизни была от меня спрятана. Отец не прочь был выпить, предпочитал самогон, любил купаться, крепко париться в бане, играл в шахматы. Главная же черта его жизни была доброта. Была она естественной, он первый от нее удовольствие получал.

Умер он, когда я был уже женат. Успел понянчить мою дочь, многое успел увидеть из моей жизни. С его смертью я лишился зрителя-болельщика, всегда заинтересованного, собственная его жизнь к старости занята была прежде всего переживанием моих радостей и невзгод.

Смерть не удалила его из моей жизни. Я даже чаще размышляю о нем, появилось больше интереса к его прошлому, его молодости, к таланту его доброты, ибо я убедился, что это главный талант человека. Он никогда не чувствовал себя виноватым перед властью, законом, а вот перед семьей, передо мною — да. К сожалению, мы почти не говорили об этом. Не так давно отвечая на вопрос, зачем в 1941 году я записался в Народное ополчение, я счел этот вопрос наивным — был всеобщий порыв… Однако сюда добавлялось что-то мое, личное. Мне хотелось доказать, что я не сын «лишенца», ссыльного, а я доброволец, я в первых рядах. Война давала мне возможность проявить свой патриотизм, я почувствовал свое равноправие. Драгоценное чувство, теперь малопонятное. Я не хуже других, теперь я советский. Наверное, таково было неосознанное побуждение, в то время оно, сокровенное, таилось у многих.

* * *

В десятом классе меня не приняли в комсомол как сына высланного. Дома я пожаловался матери. Она ничего не ответила. Я рассказывал, как это было, остальных приняли, а мне отказали. Не утешала, хоть бы слово сказала, сжав губы, молча строчила на своей машинке.

Я лег на диван, стало обидно, что у себя дома родная мать хоть бы подошла, по голове погладила. Думаю, что я заплакал, во всяком случае так я сейчас вижу ту сцену. Достоверно в ней молчание матери, холодное, упорное молчание.

Наверняка она проклинала сволочные порядки этой власти, этой уродской страны… Ненависть переполняла ее. Только теперь я сообразил, что она никогда при мне не поносила власть. А может быть, ее даже устраивало, что ее мальчика не приняли в комсомол.

Паренек этот все лежит на диване, раздавленный, жалкий, никем не понятый, никому нет дела до его позора и несчастья. Он всерьез считает, что отныне он отщепенец, будущее его растоптано, надеяться не на что. Это выглядело жизненной катастрофой.

* * *

Веры в Господа инквизиторам не хватало. Еретиков, которым они уготавливали место в аду, они, не дожидаясь срока, здесь, на

Земле, живьем жгли на кострах. Словно не надеясь на Высший суд.

Календо оставил нам описание Ада, чисто журналистский очерк. Подробный, суховатый, но с деталями, подсмотренными газетчиком, краски, запахи. Грешники не горят, их не сжигают, как, допустим, сожгли Джордано Бруно, их поджаривают. Специальная смесь замедляет эффект огня.

Ад и Рай равноценны, ибо оба требуют вечного пребывания. Ад это как бы изнанка Рая.

* * *

Слава поэта зависит от читателя. Наступает момент, когда поэт становится великим, гениальным, хотя он тот же, чем был, читатель стал другой. В русской поэзии так складывались судьбы Надсона, Апухтина, позже Щипачева, Асадова — сперва восторги, потом забвение. И наоборот — как выросло признание Бродского, Мандельштама.

* * *

Знает ли нынешний кабинет министров и прочие начальники, чего они хотят достигнуть? Не видно. А видно что? Богато жить и не откладывая (Сердюков, Шувалов…).

* * *

В вестибюле музея конная статуя какого-то короля. Перед ней стоит девица. Долго, неподвижно рассматривает. Я подхожу, спрашиваю, кому этот памятник? Она поднимает на меня глаза, пожимает плечами.

Я улыбаюсь, предлагая как бы вступить в разговор, говорю:

— Думаю, что раз вы так смотрите, вы знаете.

— Какая разница кому, — холодно отвечает она.

— Если вам безразлично, чего же вы стоите? — я заканчиваю с маленьким смешком.

Взгляд ее становится тяжелым.

— Вали отсюда.

— Ну и дуреха, — отвечаю я свысока.

Она вздыхает и уходит. Я стою и рассматриваю этого короля, стараясь понять, что ее заинтересовало. Статуя как статуя.

«Дуреха», — обиженно повторяю я.

* * *

Мог быть президентом и Хасбулатов. Если бы импичмент Ельцину прошел. Шести голосов не хватило. И началась бы, как Ельцин считает, коммунистическая реставрация.

Накануне депутат с Кубани без всяких шуток спросил депутата Беллу Куркову: «Вешать вас будем. Выбирайте фонарь. Как вас повесить, за шею или за ноги?»

А мне читатель написал: «За „Ленинградское дело“ Маленкова надо вешать, публично, на Дворцовой площади!»

Отель в Сопоте

Приехал вечером и долго сидел в ресторане, пока номер приводили в порядок после попойки русских. Завалился спать. Спать, спать. Не успел даже открыть дверь балконную на море. Разбудило меня солнце и птицы. Встал, открыл балконную дверь. Меня ослепило море. Оно начиналось с дверей, оно продолжало балкон. Птичий гомон заглушал шум моря. Они вопили просто так, как вопят дети, от полноты чувств, от этого только начатого молодого дня. Пустой пляж, чистый, и небо чистое. Появились две женщины, тоже молодые, счастливые. Они скинули на ходу халатики и голышом, визжа, вбежали в море. Они не купались, они легли в море, как в кровать, и нежились, и ласкались с ним. Я видел их обеих в обед. Они уже были в коротеньких юбочках, в майках, густо накрашенные той боевой раскраской, какой отличаются проститутки. Все остальные были деловые люди, они заехали сюда по дороге на день, два, три. Устроили себе перерыв. Проститутки тут не уличные, а курортные. Загорелые, чистенькие. Годные для прогулок, для купания, плавания, серфинга и прочих совместных радостей. Можно веселиться компаниями, составляются они легко, по каким-то неизвестным мне правилам. Проститутки — принадлежность отеля. Как официанты, горничные, но, пожалуй, классом выше. Обслуживают в вашем номере. Пирушки, выпивоны здесь не приняты. Можно, конечно, но неприлично. Русские, они позволяют себе, зато хорошо платят. Между прочим, у себя в номере нашел надпись на балконе: «Полюбил я всадницу, попросил: дай… в задницу». Видно, уборщица не заметила. Или не знает наш великий могучий.

Ко мне подсела одна девица. Узнала, что я из России. Узнала по моему разговору с официанткой. У нее работа начинается с восьми вечера. Пошли погулять. Она здесь проститутка, работа сезонная, зимой едет на Канары, там тоже отель этой фирмы. Они девочки фирменные, что угодно. Работает в номерах. Никаких сутенеров.

* * *

Несбывшаяся мечта Сальвадора Дали — побывать в Ленинграде. Он писал:

«По-моему, самым великим художником России в широком смысле этого слова был Петр I, который нарисовал в своем воображении замечательный город и создал его на огромном холсте природы. Я представляю себе Ленинград строгим, четким, как черно-белая графика. Только талантливый народ мог создать такой город».

Жаль, что так и не удалось ему приехать к нам.

* * *

Их жизнь была рядом совпадений. Счастливых было так много, что Бог не сумел сохранить свое инкогнито.

* * *

Термопара начинает сразу взаимодействовать, образ удачного замужества.

* * *

— Могущество страны — это не танки, а компьютеры.
— Вы нас не учите, мы лучше знаем.
— А разве я не прав?
— Я бы вам сказал, но это секретные сведения.

* * *

Однажды генеральным секретарем нашей компартии стал некий Полозков. Как он попал в кресло Сталина, Хрущева и

других известных нам личностей — не знаю. Но в суматохе тех дней взобрался. Ненадолго. Проскочил мимо энциклопедических словарей. Но Белла Куркова успела. Настоящая журналистка. На съезде российских депутатов он сидел рядом с ней, и она сфотографировала татуировку на его руке — «Ваня». Чтоб не потерялся, значит.

Вот такой вариант мог быть.

* * *

Мы больше умалчиваем, чем говорим. Если озвучить то, о чем мы молчим, открылось бы совсем иное состояние умов. И стало бы стыдно — да что же мы молчим, если так думаем.

* * *

Первые два года войны, 1941-й и 1942-й, я проходил в БУ. Гимнастерка, галифе — БУ, шинель — БУ, то была слишком короткая, то длинная, пришлось обстричь. Зимой дали ватник, когда офицерское звание получил, к ватнику дали меховую телогрейку. Сперва ботинки с обмотками, потом кирза с портянками. Малое вафельное полотенчико. Вместо носовых платков две тряпицы из старых простыней.

Новое я получил в танковой части. Новое нижнее белье, и гимнастерку, и кожаные штаны, новый ремень, подворотнички, носки. Все пахло свежестью, скрипело. Сапоги — можно было яловые, можно хромовые. Я взял яловые. Практичнее. Перчатки. Рукавички зимние. Помпотех вспомнил, как в Финскую войну выдали рукавицы. Обычные. Без указательного пальца. Начались бои и выяснилось, что стрелять-то в них из винтовки нельзя, курок не нажмешь.

* * *

Ты для них государство, ты платишь им копейки за их тяжелую работу. Это как? А куда идет прибавочная стоимость? Про нее нам талдычили пять лет в институте. Марксизм. За их адову работу.

* * *

Зря я с ним цапался. Он был неплохой мужик. Его вскоре забрали. По «Ленинградскому делу» вменили ему связь с врагом народа Кузнецовым. Был такой секретарь Обкома. Как можно было отказываться от контакта с Обкомом, от партийных указаний, заданий? Абсурд. Кузнецов всю блокаду руководил городом, да и фронтом. И прорывом. Он считался героем блокады. А потом врагом народа. А потом жертвой, невинно репрессирован. Опять героем. А потом… Хотели улицу назвать в его честь. Памятник ему сделать. Нет — не надо. Он подписал столько-то списков на расстрел.

* * *

«Настоящие блокадники все умерли с голоду. Так что вы напрасно тут права качаете!»

* * *

Каждый человек имеет право считать себя необходимостью истории, на самом деле, конечно, так и есть.

Я уверен, что появление каждого и пребывание на этом свете необходимо. Ибо каждый из нас исполняет свою роль и в человеческой комедии, и в человеческой трагедии, одни играют ее плохо, но это неважно, это тоже необходимо, мы не знаем смысла и цели, которую преследует Режиссер в этой постановке.

Обыватель, то есть я, никак не чувствует себя включенным в историю, не чувствует себя ни ее участником, даже свидетелем. Происшествие — да, история — это не мое прошлое, она творится где-то далеко — в Кремле, в Белом доме, в Организации Объединенных Наций, в министерствах. «Меня она, слава богу, не касается» — говорят люди друг другу. Недаром существует выражение «попасть в историю», это ничего хорошего не сулит; «попасть», «вляпаться» — речь идет тут про историю со строчной буквы. А ведь есть еще История с заглавной буквы, а в той имеют допуск только полководцы, гении политики или музыки. И обычно речь идет о прошлом, о том, что было когда-то и досталось нам оттуда уже в виде учебников, памятников.

Но есть люди, которые ощущают ход сегодняшней истории. Приведу в пример Пушкина, он постоянно и живо ощущал, что живет в Истории, что его повседневное существование включено в Историю. Не только потому, что он поэт, поэт, который знал себе

цену, но и потому, что то, что творится вокруг него, это и есть История, поэтому он записывал рассказы и россказни, слухи и сплетни, анекдоты, свидетельства — то, что мы считаем обычно мусором каким-то. За 200 лет после Пушкина этот «мусор» превратился в драгоценность. Кто-то, например, нам сохранил фразу Бенкендорфа: «Законы пишутся для подданных, а не для государства»…

Пушкин сохранил нам немало любопытных сведений и о дворцовой жизни, о политике, о войне. Не только в произведениях, а в какой-то специальной хронике, которую он старался вести в течение ряда лет.

* * *

Как сказал один философ: «Будущее проблематично, это навсегда».

* * *

История человечества свелась к истории войн. История великих людей свелась к истории, и прежде всего истории полководцев, воинственных королей, цезарей. Среди памятников, стоящих по странам Европы, больше всего памятников героям войн. Войны 20-летние, 30-летние украшают историю страны. Считается, что войны двигали вперед цивилизацию, технику, словом, были прогрессивны. Учебники истории полны описаний знаменитых войн. Воспевается прежде всего воинская доблесть. Образцом морали считается офицерская честь, солдатская храбрость. Заслугами победителей считают не малые людские потери, а захваченные земли, завоеванные полководцами.

* * *

Жизнь сокращается, воспоминания растут.

* * *

С тем прошлым, которое нам досталось, жить не хочется. Хочется его подремонтировать, хотя бы косметически.

* * *

Мы вспоминаем фильмы о войне, а не свою войну.

* * *

Он все хотел ввести пункт в анкету: «Если не вступал в партию, то по какой причине?»

Они

Встает от телевизора: «Не понимаю, на что они надеются». Возвращается с работы: «Надоели их обещания, болтают, болтают, а пробки на дорогах еще хуже».

В магазине: «Опять они повысили цены, как они надоели». Они, их, с ними (каши не сваришь) и т. п.

Местоимение «ОНИ» употребляют всё враждебнее. Кто они — всем понятно. Это даже не местная власть. Бери выше! Еще выше! Ни разу не слыхал, чтобы прозвучало одобрительно — «ОНИ».

Интервью, которое не стали печатать

К юбилею Победы (65 лет) ветеранам выдавали квартиры (36 кв. м). Замечательно. Когда война кончилась, Климову было 20 лет. Теперь ему 87 лет. Дожил. Прежде всего это радость наследников. Их праздник. Климов фронтовик, приобрел астму и диабет. Фронт, война, передовая без потерь не отпускают. Инвалид, больной, измученный послевоенной нашей жизнью, ему трудно насладиться счастьем отдельной квартиры, ему теперь надо стоять в аптечных очередях, к врачам в поликлинике.

Все последние годы, когда развернулось жилстроительство, государственные квартиры получали кто угодно, прежде всего, конечно, чиновники, депутаты всех рангов. Вместе с корочкой их немедленно наделяли ордерами, они были главные ордероносцы. Им вручали. Депутаты ЗАКСов, муниципалы, администрации, не говорю о думцах, сенаторах. Есть ли в стране депутат, который проживает в коммуналке? В бараке? Есть ли слуга народа, который ютится так, как те, кто его избирал, кто его содержит и оплачивает его безбедное существование?

Наконец спохватились. Но спрашивается, почему надо было ждать юбилея? Чтобы помпезно провести эту акцию? А если бы на три года раньше, на четыре? До кризиса? Что, от этого радости было бы меньше? Нет, конечно, зато теперь фронтовиков поубавилось, легче стало. Никогда еще в стране не было столько денег, как в последние годы, — нефтяные, газовые. Куда они подевались, бог знает. Даже построить приличную автомобильную дорогу Москва — Петербург не могли. Между двумя столицами никак не могут соорудить нечто достойное, всего-то шестьсот километров. Едешь по нынешней трассе, точно впечатление, что трясемся вместе с кибиткой Радищева.

Но вернемся к ветеранам войны, к нашему празднику. Боюсь, что этот праздник не только последний праздник участников, но

и праздник он, наверное, все-таки не для участников. Это праздник для новеньких генералов, в каком-то, может, смысле для детей и внуков ветеранов. А что праздничного осталось для тех, кто воевал? Надеть пиджак с медалями, орденами, значками? Кто на них посмотрит? Да и много ли среди всех этих металлических цацок боевых орденов? А если есть, то и носить их страшновато, сколько было случаев в последние годы: грабили ветеранов, забирали эти самые ордена и значки, пригодные для продажи. Это уже не заслуга, это товар. Убивают, чтобы выкрасть и продать. Напоследок жизни они опять приобрели ценность, но уже другую, рыночную.

Кого спросить, к кому обратиться — «Что же вы, господа-начальники, не позаботились раньше, чего вы ждали, чтоб сэкономить? На чем?».

Все время мы экономим на наших людях, на их здоровье, на их жизнях, на их жилье, на детских садах, на больницах. Не на ракетах, не на танках, не на подводных лодках, как же — это святое, а жизнь человеческая — это не святое, это временное.

Этот праздник наполнен воспоминаниями об ушедших фронтовых друзьях, их тени уже расплылись, стали смутными, больше помнятся те, кто выжил и с кем провел последние годы, но и те ушли уже. Лично у меня из моих однополчан почти никого не осталось, разве что дети и внуки, дай бог, чтобы они подняли чарку в память своих боевых отцов, дедов.

Как бы хотелось стереть пыль и ржавчину прожитых десятилетий и вернуть то счастливое время, когда Победа была новенькой, звонкой, когда фронтовиков-однополчан было много, мы встречались, выпивали, целовались, вспоминали, и цена потерь и невзгод не перевешивала великую цену Победы.

Сейчас можно услышать — зря воевали, зря столько народу угробили. Так говорят те, кто не воевал, а те, кто прошел войну, все же сохраняют уважение к своей войне. Странное чувство, истощенное обидами, но все же живет сокровенное ощущение — я был участником великой, решающей схватки.

2010

Новое о Шекспире

Замечательный наш биолог Михаил Голубовский прислал мне свою статью «Новое о Шекспире», часть которой я решил опубликовать.

«Нет ни автографов Шекспира, ни его писем или рукописей. Даже в завещании ничего не сказано о книгах и пьесах. Вызывает

сомнения, как провинциал, окончивший лишь начальную школу, мог иметь такие знания истории, культуры и быть в курсе хитросплетений и интриг королевского двора. Среди сокрытых под этим именем авторов наиболее часто обсуждают четырех кандидатов (близких ко двору королевы Елизаветы I): граф Оксфорд де Вер, канцлер и философ Фрэнсис Бэкон, драматург Кристофер Марло и граф Дерби.

Гипотеза „Шекспир = Фрэнсис Бэкон“ стала популярной в конце XIX века. В спор включились не только гуманитарии. Начиная с 1884 года эта гипотеза пленила ум великого математика Георга Кантора (1845–1918), создателя теории множеств. В 1911 г. Бертран Рассел пригласил его в университет St. Andrews в Шотландии прочесть лекцию по теории множеств. К изумлению почтенной аудитории математиков, Кантор почти всю лекцию посвятил проблеме Шекспир-Бэкон. <…>

Ряд ученых полагает, что имя Шекспир служило прикрытием для коллектива авторов, как у французских математиков имя Бурбаки. Сюда, видимо, можно отнести и экстравагантную концепцию проф. Г. Яблонского (Сент-Луис): как это ни невероятно, но в коллектив авторов „Шекспир“ мог войти не кто иной, как Лжедмитрий, или Григорий Отрепьев. Еще идет давний спор, один это человек или два. Но кто-то из них, после неудачного царского самозванства, бежал из России через Архангельск в Англию на ганзейском корабле и стал писателем.

Вот некоторые доводы в пользу этой новой, необычной версии. Лжедмитрий был весьма образован, знал иностранные языки, интересовался историей и нравами других народов. Как политик, он был прогрессивен и самостоятелен, чем не угодил даже полякам. В русской литературе XVI века было место только для одного великого писателя, царя Ивана Грозного. Двоим было тесно. После бегства Лжедмитрий обрел второй облик, тайно войдя в коллектив „Шекспир“.

А. К. Широв, вослед Яблонскому, указывает в пользу этой необычной версии на такой косвенный довод: во всех пьесах Шекспира нет упоминания о России. Это неслучайно. События в пьесах Шекспира происходят в Италии, Дании, Франции, в Древней Греции и Риме, в Египте („Антоний и Клеопатра“), в Богемии, Наварре, Арагоне (Испания) и в Иллирии. Но о России — ни звука. Это странно, ибо царь Иван Грозный вел активную переписку с Елизаветой I. Умолчание — преднамеренно. Зато оно открывает возможность понять его причины.

А. К. Широв нашел в архивах Оксфорда автографы Лжедмитрия и его возлюбленной красавицы полячки Марины Мнишек. Это код! Лжедмитрий в Польше именовался не

Отрепьев, а Отрепшек или просто Репшик. Окончания и суффиксы типа „шек/шик“ и двубуквенные сочетания „пш/шп“ или „шп“ для польского языка типичны. Широв цитирует Чехова, вложившего в уста своего героя ироничную фразу: „Не пепши, Петша, вепша пепшем, бо можешь пшепетшить вепша пепшем“. Что в переводе с польского просто означает — не перчи, мол, Петя, свининку перцем, ибо можешь переперчить.

Попав в Россию, Репшик, естественно, сменил окончание, — „шек“ на „-ев“ и, добавив приставку „от“, получил имя Отрепьев. Добравшись до Англии в 1600 г., он случайно встретил актера Шекспира. Репшек ухватился за эту встречу и легко анаграммно трансформировал свою фамилию: просто переставил первый слог „реп“ на второе место в перевернутом виде, и добавил букву „с“ в середине. Получился „Шек-с-пер“ или, учитывая чередование е/и, — Шекспир.

Рукописные автографы об этой трансформации и обнаружил в архивах Оксфорда А. К. Широв. Новая гипотеза о связи Репшек-Шекспир дает возможность шекспироведам понять таинственную трансформацию в творческой эволюции Шекспира. Именно после 1600 г., когда в шекспировский коллектив попал Лжедмитрий-Репшек, начался новый период в творчестве драматурга. Тогда появляется самая знаменитая его драма „Гамлет“ со столь известным всему миру монологом „Быть или не быть? Вот в чем вопрос“. Такая дилемма, несомненно, была навеяна личной драмой авантюриста Репшека: быть или не быть, решаться на смертельно опасное самозванство или нет».

«Кстати» (San-Fancisco)

Март. 2011

* * *

Легче всего, утверждал Антон, добраться до тела. Женщины сдавались ему охотно, иногда сами намекали, были такие, что навязывались. Задушевная связь получалась редко, так, чтобы поинтересоваться, чем он увлечен, чем занят. Не успевали пооткровенничать, поговорить за жизнь, как переходили к близости. Расходились неуверенные, что еще встретятся. Не возникало необходимости или потребности продлить свое общение. Он жалел, что не поговорили, казалось, упустил нечто более интересное, чем эти 2–3 «пистона», как называл это Трубников. Так было с той переводчицей. Как она забавно высмеивала мэра какого-то городка под Костромой, бедняга не

мог справиться с фамилией Хемингуэй. Все время получалось у него что-то неприличное. И как он неумело целовал ей руку. Мэр признался, что ненавидел всю эту ихнюю городскую культуру так же, как она не скрывала своей ненависти к этой хамской власти, лживой и трусливой. Она говорила Антону: «На самом деле они боятся больше нас, чем мы их». Ему хотелось поговорить об этом, а он принялся подливать вино и спаивать ее.

* * *

Разум говорит, а чувство точит.

Петрарка

* * *

Про «Войну и мир» и «Хаджи-Мурата» — студент университета, вполне успешный, говорит: «Эти тексты дают много информации».

Правильно, но, Боже, как скучно.

* * *

В каждом человеке можно найти человека.

* * *

Никого не видеть, никого не слышать, сидеть дома, читать мемуары и перебирать свои воспоминания — это нынешняя моя мечта. Была когда-то и другая мечта: когда уйду на пенсию, начну читать Диккенса, тридцатитомное собрание сочинений. Стоит до сих пор не раскрытое.

* * *

Тридцатые годы, годы моего детства, были украшены гипсовыми статуями в садах и парках, кумачом, женщины в косынках, мужчины с портфелями, утром заводские гудки и дым из всех труб. Ничего этого не осталось, разве что трубы по-прежнему торчат на крышах домов.

* * *

Врач запретил мне думать о плохом, он бы вообще запретил мне думать, но я привел ему изречение Декарта: «Я мыслю, следовательно, я существую». И он не знал, как с этим быть, видимо, он принял Дидро за крупного специалиста, по меньшей мере академика медицинских наук.

* * *

Любовь это чудовище, которое они вскормили оба в четыре руки.

Ромовые бабы

Когда мы с Алесем Адамовичем собирали материал для «Блокадной книги», нам не раз рассказывали о специальных пайках для Смольного: «Там икра, а там крабы, ветчины, рыбы…» — каких только деликатесов не перечислили. Никто из рассказчиков лично не видал этих яств. Слухи были, а доказательств не было. Поначалу мы относили это к фантазиям голодающих, у них появляются всякие глюки. Фантазии рождаются от литерных карточек для директоров, академиков, командного состава, их действительно подкармливали, весьма скупо, чтобы ноги не протянули. Например, руководители Радиоцентра, бывая в столовой Смольного, получали там обед. И то по очереди.

Я помню такой обед, однажды удостоился, когда нас привезли с передовой награждать орденами. После вручения, прибавкой к награде, повели вниз, в столовую. Суп был горячий, в тарелке, уже диво. Не то что «супокаша», что привозили в окоп в термосе, а чаще в бидоне, сваливали и супешник и кашу вместе. В смольнинском супе горох был виден, картошечка, не то что наши щи — в них хоть штаны полощи. На второе дали гречу и котлету. Опять же — на тарелке, это вам не котелок. Вилка была. Вилку ложкой не заменишь! Соль стояла. Хлеба кусок, его завернули в газетку, даже майоры заворачивали, хлеб был свежий и пахнул хлебно. С того обеда в январе 1942 года долго оставалось послевкусие. А на десерт чай с заваркой и конфетка карамелевая в зеленой обертке.

Ну, хорошо, допустим, рассуждали мы с Адамовичем, членам

Военного Совета котлеты дают покрупнее, масла дают кусочек, наверное, на закусь селедку, так ведь этим городского голода не унять, если всем распределить, по грамму не достанется, об этом и упоминать не стоит. Голодным питерцам, дистрофикам, мерещились пиры лукулловы. Мы мысли не допускали, что среди умирающих от голода горожан, среди трупов на улицах руководители города могут позволить себе роскошную еду.

Был, правда, у меня один фактик, мой личный, это когда меня отправили в Ульяновск в танковое училище на курсы. Начальники из штаба армии дали мне два адреса с посылками родным, в каждой палка колбасы и по банке сгущенки. Это из блокадного города. Отправлять в тыл продукты — довольно странно.

Как-то в декабре 42-го мой приятель, старлей Володя Лаврентьев, получил командировку на сутки в город для нас двоих за веретенным маслом к пушкам. «Завернем к двум девочкам», — сообщил он по секрету. Прихватили водки наркомовской, выдавали нам по 100 граммов в сутки. Тащиться два километра в город по морозу мне не хотелось. Однажды мы с ним уже прокололись с девицами, посрамились неспособностью. Он меня успокоил, цель у нас другая — подкормиться у них, они где-то при деле, и мы понаслаждаемся. Он не наврал. Наслаждение стояло на столе. Девицы были не первой свежести, а вот яблоки совершенно новенькие, а главное, банка тушенки, горячая картошка и к ней, представить я не мог — маслины! С нашей стороны разливали мы бутылку наркомовской водки, Володя спел им Вертинского, Лещенко, одесские песни, конечно, без гитары, а я прочитал Есенина. Одновременно происходило питание. Сдержанное, поскольку мы сохраняли офицерское достоинство. Девочки, выпив, рассказали нам кое-что про своих «мальчиков», что посещают их и расплачиваются продуктами. Конечно, взять с собой сухарей со стола, да еще маслины, угостить ребят в окопах, мы не могли. Угрызений совести тоже при нашем аппетите не хватало. Возможно, я считал, что тащить назад тяжелые канистры с веретенкой на голодный желудок несправедливо, поэтому мы деликатно все подчистили.

Я начисто забыл про эту вечеринку, вспомнил, когда однажды, уже после выхода «Блокадной книги», мне принесли фотографии кондитерского цеха 1941 года. Уверяли, что это самый конец, декабрь, голод уже хозяйничал вовсю в Ленинграде. Фотографии были четкие, профессиональные, они потрясли меня. Я им не поверил, казалось, уже столько навидался, наслушался, столько узнал про блокадную жизнь, узнал больше, чем тогда, в

войну, бывая в Питере. Душа уже задубела. А тут никаких ужасов, просто-напросто кондитеры в белых колпаках хлопочут над большим противнем, не знаю, как он там у них называется. Весь противень уставлен ромовым бабами. Снимок неопровержимо подлинный. Но я не верил. Может, это не 41-й год, и не блокадное время? Ромовые бабы стояли ряд за рядом, целое подразделение ромовых баб. Взвод. Два взвода. Меня уверяли, что снимок того времени. Доказательство: фотография того же цеха, тех же пекарей, опубликованная в газете 1942 года, только там была подпись, что на противнях хлеб. Поэтому фотографии попали в печать. А эти ромовые не попали и не могли попасть, поскольку фотографы снимать такое производство не имели права, это все равно что выдавать военную тайну, за такую фотку прямым ходом в СМЕРШ, это каждый фотограф понимал. Было еще одно доказательство. Фотографии были опубликованы в Германии в 1992 году.

Подпись в нашем архиве такая: «Лучший сменный мастер „энской“ кондитерской фабрики В. А. Абакумов, руководитель бригады, регулярно перевыполняющей норму. На снимке В. А. Абакумов проверяет выпечку „венских пирожных“. 12.12.1941 года. Ленинград. Фото А. А. Михайлов. ТАСС».

Юрий Лебедев, занимаясь историей ленинградской блокады, впервые обнаружил эти фото не в нашей литературе, а в немецкой книге «Blokade Leningrad 1941–1944» (издательство «Ровольт», 1992). Сперва он воспринял это как фальсификацию буржуазных историков, затем установил, что в петербургском архиве ЦГАКФФД имеются оригиналы этих снимков. А еще позже мы установили, что этот фотограф, А. А. Михайлов, погиб в 1943 году.

И тут в моей памяти всплыл один из рассказов, который мы выслушали с Адамовичем: какой-то работник ТАСС был послан на кондитерскую фабрику, где делают конфеты, пирожные для начальства. Он попал туда по заданию. Сфотографировать продукцию. Дело в том, что изредка вместо сахара по карточкам блокадникам давали конфеты. В цеху он увидел пирожные, торты и прочую прелесть. Ее следовало сфотографировать. Зачем? Кому? Юрий Лебедев установить не мог. Он предположил, что начальство хотело показать читателям газет, что «положение в Ленинграде не такое страшное».

Заказ достаточно циничный. Но наша пропаганда нравственных запретов не имела. Был декабрь 1941 года, самый страшный месяц блокады. Подпись под фотографией гласит: «12.12.1941 год. Изготовление „ромовых баб“ на 2-й кондитерской фабрике. А. Михайлов. ТАСС».

По моему совету Ю. Лебедев подробно исследовал эту историю. Она оказалась еще чудовищней, чем мы предполагали. Фабрика изготавливала «венские пирожные», шоколад в течение всей блокады. Поставляла в Смольный. Смертности от голода среди работников фабрики не было. Кушали в цехах. Выносить запрещалось под страхом расстрела. 700 человек работников благоденствовали. Сколько наслаждалось в Смольном, в Военном Совете — не знаю.

Сравнительно недавно стал известен дневник одного из партийных деятелей того времени. Он с удовольствием изо дня в день записывал, что давали на завтрак, обед, ужин. Не хуже, чем и поныне в том же Смольном.

Вообще-то говоря, фотоархивы блокады выглядят бедно, я их перебирал. Не было там ни столовой Смольного, ни бункеров, ни откормленных начальников. В войну пропаганда убеждала нас, что начальники терпят те же лишения, что и горожане, что партия и народ едины. Честно говоря, это продолжается ведь и до сих пор, партия другая, но все равно едина.

Написать о контрастах блокадной жизни было заманчиво, но тогда мы с Адамовичем взяли себе за правило, что пишем только достоверное — с фамилиями, именами, отчествами, адресами, — хотели избавляться от множества блокадных мифов, что накапливались у блокадников. Бессознательно они присваивали себе то, что видели в кино, по телевидению, что как-то напоминало или сходило за пережитое.

Боюсь, что из-за этой нашей погони за достоверностью многое интересное пропало, не доверяли. Не допускали.

Итак, в разгар голода в Ленинграде пекли ромовые бабы, венские пирожные. Кому? Было бы еще простительно, если бы ограничились хорошим хлебом для командования, где поменьше целлюлозы и прочей примеси. Но нет — ромовые бабы! Это, согласно рецепту: «На 1 кг муки 2 стакана молока, 7 яиц, полтора стакана сахара, 300 г масла, 200 г изюма, затем по вкусу ликер и ромовая эссенция.

Надо осторожно поворачивать на блюде, чтобы сироп впитывался со всех сторон».

* * *

«Ленинградское дело» кругами пошло по всем учреждениям города. Университет возглавлял брат Вознесенского. Профессора подверглись репрессиям. Одного расстреляли, двое умерли в

тюрьме, семь человек отправили в лагеря. Это только на экономическом факультете (1947–1950).

* * *

Скоро вырастут поколения, которые отродясь не видели живого щенка, они не узнают, что белье можно стирать в реке, а не в стиральной машине. Не будут знать, как пахнет клубника, сорванная с грядки.

Н. Климентьев

С 1989 года в России упразднили 11 тысяч поселений, в 13 тысячах деревень никто не живет.

Изготовление семьи

Друг мой Толик, преуспевающий владелец обширной сети частной медицины, поликлиник. Он преуспевал, зарабатывал все больше. После дачи появился дом в Грузии, дом в Финляндии, квартира в Германии, жилье множилось, а семья оставалась той же: дочь и жена, всего-навсего. Детей бы еще. Стали советоваться, обсуждать и решились. Изготовить. Современным способом. Полетел Толик в Америку. Там его препроводили в Центр. В стеклянных трубах заключался выбор будущих сыновей и дочерей, рядом большой зал — выбор будущих матерей, у каждой описание: кто такая, сколько лет, здоровье, вес — все, что полагается, как при знакомстве с женщиной. Знакомство безмолвное. Толик должен был изготовить себе добавок в семью. Его предупредили: получится двойня. Носительницу, или роженицу, выбирали со всей тщательностью, женщина должна будет вынашивать положенные девять месяцев. Тут уж ничего не поделаешь, срок прежний, старомодный. Составили документы, заверили. В положенный срок Толик явился к жене с двумя новорожденными. Безупречная система и никаких попреков, скандалов, откуда, мол. Полное взаимопонимание. Хлопотно, дорого, зато безошибочно. Может, это путешествие, хлопоты, ожидание тоже создают некое родственное чувство, похожее на отцовство, — мой гомункул, я его создал, моего здесь больше.

Когда-то алхимики в Германии, в Нидерландах предлагали производить любых людей в своих ретортах. Почему-то феодалы остерегались и предпочитали библейский способ, технология в этом деле считалась греховной. Инквизиция за такие способы

могла наказать. Ныне инквизиция не работает, и этих детей становится все больше, так же как все больше электронных друзей, виртуальных праздников, бестактильной любви. Синтетика, клавиши, пульты и дети, которых не отличить от ночных созданий.

* * *

Настоящее — всего лишь безобразная тень прекрасного мира, из которого к нам доносится волшебная музыка Моцарта, Баха и других гениев, совершаются благородные подвиги любви, мы узнаём о них по стихам, картинам. Где-то он есть, этот мир. Оттуда приходят мечты, сны.

* * *

Он был пузатый, носатый, смешно некрасив. Это его нисколько не смущало. Нагло он утверждал себя успехами у женщин. Казалось бы, ничего, кроме смешков, он не мог вызвать. Они смеялись и отдавались ему. Он сам посмеивался над красавцами, атлетами. В нем не было ничего от робости, неуверенности.

* * *

Я никогда не придавал значения своей гражданской деятельности. Никакой деятельности и не было. А были должности, меня куда-то избирали, зачисляли, давали красные корочки, по которым можно входить во всякие учреждения, бесплатно ездить в транспорте. Сделали меня членом Обкома, это когда я был секретарем Союза писателей СССР. Сделали депутатом Ленсовета. Все напрасно. Толку от меня не было. Я не выступал, ничего не предлагал. Думаю, что это вполне устраивало начальство. Был народным депутатом СССР, членом Комитета по Госпремиям и многое другое.

* * *

Он, маленький, черненький, впивался в учителей, как клещ. Я помню, как он стал донимать учителя обществоведения Астапова:

где работал Ленин? какое он жалованье получал? нет, вы скажите, где он работал, когда жил за границей, кто ему зарплату платил, партия? а у нее откуда деньги были? у нее же не было ни заводов, ни фабрик?

Он довел Астапова до бешенства, тот орал, кричал, но мы так и не узнали, кто Ленину платил, и этот вопрос прозвучал и остался для всех без ответа по сей день. Вообще, Ленин был тоже мифической фигурой, мы не понимали, почему у него не было детей, почему у него не было красавицы жены.

В кабинете обществоведения висел странный плакат, которого я больше нигде никогда не видел. Там были изображены члены правительства с их женами. «Ты смотри, у всех какие красавицы жены. У Луначарского, у Молотова. А посмотри, какая красавица Коллонтай! Только у Ленина такая тетеха. Почему? Нет, ты ответь, почему?»

* * *

Мне выпало счастье познакомиться с Александром Александровичем Любищевым — известным ученым. Он прельстил меня не столько своими достоинствами, сколько своей системой пользования временем своей жизни. Мы никогда не знаем, сколько нам отпущено. У одних жизнь долгая, у других короткая. Но большей частью мы тратим ее безрассудно. В Любищеве меня привлекало благоговение перед временем, дарованным нам судьбой. Я написал книгу «Эта странная жизнь». Она о его системе пользования временем. Этой системой он пользовался до конца своей жизни, лет 40 с лишним, и многого достиг.

Когда книга вышла, я стал получать много писем от читателей. Я не мог их все прочитать. Сдавал их в литературный архив. Недавно среди бумаг я обнаружил одно письмо, не прочитанное мной. Оно было удивительно интересным. Кроме письма в конверте была статья. Автор письма — молодой человек, стал пользоваться системой Любищева. Она приносила ему успех. Он стал успевать больше делать и интереснее жить. Мало того, он развил ее и приспособил для своего нравственного совершенствования, чтобы побороть свои пороки, свою лень, свою привычку «убивать» время.

Мне захотелось привести эту статью в книге. Хотя бы отрывки. Может, найдутся читатели, которые захотят использовать для себя системы, разработанные А. Бабием — автором этой статьи.

Не знаю, может, она уже где-то напечатана, но думаю, что она стоит того, чтобы привести отрывки из нее в этой книге.

А. Бабий

Хронометраж, или Алгебра любви-3

Надо сказать, что на первых четырех курсах университета я был порядочным разгильдяем (да, собственно, и на пятом тоже). Из всего этого времени я помню разве что свои романы, Пегаса с компанией да походы. Меня носило от социологии к журналистике, от программирования к графомании, читал я исключительно научную фантастику. Мои представления о будущем были самыми туманными.

Впрочем, к пятому курсу я внезапно заделался яппи. Я решил жить целенаправленно, уйти в науку, и план на ближайшие лет десять был такой: в первые пять лет защитить кандидатскую, а во вторые пять лет жениться. Я проповедовал в те времена отказ от идеализма, умение жить материально и так далее. Это было недолго, несколько месяцев, но странным образом именно это помогло мне выстроить систему, которая, собственно, была стержнем моей жизни в следующие пятнадцать лет, да в общем-то и по сей день, и которая привела меня в совершенно обратную сторону: к христианству, например.

Все совпало во времени и пространстве. Именно на этот период жизни пришлось мое знакомство с Валерием Ивановичем Хвостенко. Напомню, что он был моим дипломным руководителем, но о дипломе мы с ним разговаривали очень мало. То он меня тащил на лекцию о Сальвадоре Дали, то давал почитать запрещенную почему-то в те годы книжку «Игры, в которые играют люди»… А однажды он дал мне недавно вышедшую повесть Даниила Гранина «Эта странная жизнь» — и перевернул всю мою жизнь, не догадываясь об этом. <…>…Меня поразила система учета времени, разработанная Любищевым. Всю жизнь учитывать время с точностью до минуты, проводить регулярный анализ затрат времени и добиваться уменьшения потерь… Именно этого мне не хватало, для моих «яппистских» планов нужна была высокая производительность труда. Это потом оказалось, что Система важна не для этого (или не только для этого). Это потом Система стала действительно системой жизни и изменила меня кардинально. А в феврале 1976 года я подошел к ней совершенно утилитарно. Работы я разделил на специальную (0), полезную (1) и прочую (2). Специальная — то есть «по

специальности»: программирование, математика и так далее. Полезная — это литература, фильмы и так далее. Забавно, но в те времена я не включал физическую нагрузку в полезную работу, она проходила у меня как «Прочая». На каждый день я завел таблицу… <…>…В конце месяца данные суммировались и печатался подробный отчет: сколько времени ушло на каждую категорию с разбивкой по темам (на отладку конкретных программ, на чтение тех или иных книг, и так далее). Результаты оказались обескураживающими. Я знал, что я живу неэффективно, но чтобы настолько…

<…> Всего пять часов в день — полезные. Остальное уходит черт знает куда: на треп, переезды, пьянку, очереди… Оказывается, на смотрение хоккея у меня за десять месяцев 1976 года ушло 117 часов! 117 часов я тупо пялился в телевизор (это только хоккей, а было еще и прочее, полчаса в день!).

Впрочем, даже само по себе ведение Системы увеличивало «отдачу» дня. Я следил за собой, и это было главным в Системе. Даже если бы я просто записывал затраты времени, не суммируя их, и то результат был бы убойным. Но это я понял гораздо позже. А пока я сосредоточился на цифрах. И результат не заставил себя ждать. Уже в 1977 году средний день выглядел так:

В среднем в день. Январь 1977	Страниц	Час. мин.
Всего	113	7.00
0. Научная работа	19	2.42
0.1. Творческая работа		0.21
0.2. Чтение специальной литературы	19	1.24
0.3. Работа с программами на ВЦ		0.24
0.4. Коммуникации		0.47
0.5. Написание статей		0.04
1. Полезная работа	94	4.18
1.1. Чтение	94	1.38
1.2. Зрелища		1.27
1.3. Физическая культура		0.08
1.4. Система		0.37
1.5. Общение		0.06
1.7. Прочее		0.08

То есть я вышел на семь часов полезного времени в день. Это было совсем неплохо, если учесть, что следующие десять лет я мучительно выходил на сумму в 10 часов в день, то есть увеличил

результат всего на три часа. Казалось бы, немного. Но примите во внимание, что у меня учитывалось не «футбольное», а «хоккейное» время. Но учтите, что человек минимум восемь часов в день спит (24–8 = 16), что ему надо есть, совершать туалет, ездить на автобусе, ругаться с тещей, ходить в магазин, свести все эти затраты к шести часам в день не так уж просто. Попробуйте, а я посмотрю. Запишите всего один ваш якобы рабочий день с точностью хотя бы в двадцать минут — и ужаснитесь вечером, как я ужасался КАЖДЫЙ вечер много лет! <…>

Слежка за самим собой

<…> Убедившись в том, что от смотрения телевизора никакой пользы, кроме вреда, нет, я поставил ограничение: не более получаса в день. То есть 15 часов в месяц. И точно так же фиксировал отдельно затраты времени на телевизор. Как только набегало 15 часов, я не имел права смотреть телевизор до конца месяца. В конце концов я пришел к очень жесткому режиму: в начале недели просматривал программу передач, отбирал фильмы и передачи на общую сумму три часа и в остальное время к телевизору не подходил вообще. Собственно, именно так и следует поступать с телевизором. <…>

Динамика

В 1976 году (первый год ведения Системы) я выжал 5 часов 13 минут в день на полезную работу (в сумме по трем категориям). Из них, кстати, на чтение уходило 2 часа. Все правильно, тогда надо было очень многое узнать…

В 1977 году я выдал уже 7 полезных часов в день. Из них 2 часа 42 минуты ушли на работу по специальности, 3 часа 5 минут — на культурную, а на физическую нагрузку (не смейтесь!) — 8 минут в день.

На отметку «10 полезных часов в день» я вышел уже в середине восьмидесятых. Вот так-то все не просто… <…>

Каналы

Достичь достаточно наполненного дня — это одно. Достичь реальных результатов — совсем другое. Скажем, что толку с того, что ты потратил сколько-то времени на какую-то работу, если ты

ее на самом деле не закончил?

Начал я с книг, потому что чаще всего именно книги валялись у меня во множестве недочитанными. Начинаешь читать одну, тут под руку попадается другая, а там и третья… Надо было все это упорядочить, тем более что кроме времени я учитывал еще и количество страниц (а что, согласитесь, неплохо узнать собственную скорость чтения, да еще и в зависимости от типа читаемой книги).

Была организована очень простая система так называемых каналов. Было выбрано три типа книг: по специальности, художественная и прочее (т. е. научно-популярная, общ. — полит. и т. д.). Впоследствии добавился еще один тип: философская. Так вот, для каждого типа книг было два канала: основной и запасной. То есть на самом деле я мог читать одновременно не более трех книг (по одной каждого типа). Иногда бывало, что срочно нужно было прочитать что-то (принесли на пару дней тогдашний бестселлер «Сто лет одиночества», потребовалось срочно прочесть том документации и т. д.) — и это шло по запасному каналу. Бывало, что все три запасных канала были заняты, то есть я читал шесть книг одновременно. Но никак не больше. Кроме того, запасной канал по художественной литературе часто использовался для более легких книг, которые можно было читать в автобусе, гуляя с детьми и т. д.

Главное в этом деле было то, что, беря какую-то новую книгу, нужно было решить, дочитываешь ты старую или нет. То есть решение принималось осознанно, а не сиюминутно. Процедура «снятия» книги с канала была достаточно бюрократична: надо было обосновать, что эту книгу ты начал читать зря, что дочитывать ее не стоит вообще, и т. д. Проще было книгу все-таки дочитать: о) <…>

Не только количество

Когда в 1985 году я вышел на предел по количеству полезного времени (десять с половиной часов в день), я понял, что теперь нужно заботиться в основном о качестве.

Других резервов для повышения производительности жизни не оставалось. Вот тогда вдобавок к режимам работы появились еще режимы полезности работы. То есть я начал учитывать время гораздо тоньше. Например, учитывать отдельно время, ушедшее на незавершенку. Заметьте, если раньше меня интересовало экстенсивное наращивание времени, которое не тратилось бы на полную ерунду, то теперь среди времени, считавшегося раньше

полезным, отыскивались новые резервы… <…>

Будильник

<…> Надо заметить, что в тот момент, когда я начал вести учет времени, был я вполне типичным двадцатилетним балбесом. Кроме компьютеров (которые, впрочем, тогда назывались ЭВМ), я мало чем увлекался. Читал я исключительно фантастику. Ну да, пробовал заниматься писательством, выпускал стенгазеты. Но был вполне карьеристски настроен: в ближайшие три-пять лет кандидатская, затем — докторская и т. д. Собственно, для того я и затеял вести учет времени, чтобы сделать свою карьеру максимально быстро и эффективно.

Однако буквально через год-два ценности мои радикально поменялись. Читать я стал исключительно классику (ну и вообще — серьезные книги), карьера перестала интересовать вообще (я имею в виду «должностную» карьеру, а не профессиональную; как программист я рос тогда очень стремительно), зато сильно заинтересовала философия, поиск смысла жизни. И вообще, я заметил, что система загадочным образом делает меня лучше. Не эффективнее, а именно лучше, в простом человеческом смысле этого слова. <…>

<…> Еще один момент: в борьбе за эффективность жизни я несколько «подсушился». Может, это и возрастное, а может, и следствие ведения системы — но чем дальше, тем меньше я находил удовольствия в развлечениях, тем дальше я отдалялся от жизни большинства (с которым, впрочем, и раньше не так уж был и близок). В конечном счете я стал настолько далек от обычных забот, что с трудом поддерживаю разговор на бытовые темы. Да и близкие на меня, бывает, обижаются — помню, как в 1976 году, еще в самом начале ведения системы, жена увидела запись «15 минут — общение с женой», и до сих пор мне это припоминает: о) Хотя, кстати, это был зафиксирован не секс, а как раз пятнадцать минут обычного супружеского трепа. Кстати, а фиксировался ли секс? <…>

* * *

После ссылки отца мать вынуждена была содержать нас, детей. Она пошла портнихой в швейное ателье, платили там мало, и она прирабатывала, шила на дому. Боялась фининспектора, что ее объявят кустарем, обложат налогами.

Шила как бы тайком. Если кто приходил, звонил в дверь, все шитье пряталось. Боялись соседей, боялись гостей, родных, боялись дворников, управхоза. Детство мое, школьные годы проходили среди ее страхов. Вернее сказать, среди семейных страхов. Это не прошло бесследно. Я побаивался всего, что связано с властью. На войне это касалось командиров. Их боялся больше, чем немцев. Как я теперь понимаю, многие дурацкие, отчаянные мои поступки были от желания избавиться от моих страхов.

* * *

Власть наша отвратительна была и есть. Она как появилась в 20-е годы, так принялась немедля расстреливать без суда и следствия. Буржуев, великих князей. Этих постреляли в Петропавловской крепости. Великого князя Павла Александровича — того закопали тяжелораненым.

Если составить график только расстрелов, даже не тюремных посадок, то на протяжении 80 лет получится кривая непрерывная, без пауз. Речь идет только о политических. Хотя я помню, что после войны политических объявляли уголовными. Процессы шли беспрерывно, один переходил в другой. По всей стране появились огороженные места, куда приезжали закрытые грузовики, привозили людей для расстрела.

* * *

Дневник А. Розенберга (5 октября 1939 года)

«Риббентроп рассказал Даре в присутствии Лея о своих московских впечатлениях: русские были очень милы, он чувствовал себя в их кругу, как среди старых членов нашей партии… Между прочим, Сталин поднял тост не только за фюрера, но также за Гиммлера как за гаранта порядка в Германии. Гиммлер истребил в Германии коммунистов, то есть тех, кто верил Сталину, а он коммунист — без всякой на то надобности — тост за палача своих сторонников. Вот это величие, говорит Риббентроп».

Гитлер уничтожил другие народы, Сталин свой собственный.

Почему-то хочется, чтобы Гитлер был хуже Сталина. Оба уроды, изуверы, маньяки, но, конечно, Гитлер маньячнее. А как же, нельзя, чтобы они сравнялись. Сидит во мне советское или солдатское?

Непроизнесенный тост

9 Мая хороший праздник. Нынче мы отмечаем 65 лет Победе. Прямых участников Победы осталось немного. А тех, кто начинал, в 1941-м, совсем мало. Вчера у нас в Петроградском районе администрация дала праздничный обед ветеранам. За круглыми столами, красиво убранными, сидели нарядно одетые, увешанные орденами и медалями старики и старушки. Были среди них бодрые, молодцеватые, были с палочками. Человек полтораста. Большая часть приглашенных уже не выходят. Всем за 80.

Было это в Белом зале особняка Горчаковых, того самого, лицейского друга Пушкина.

Я знал, что мне придется выступать. Я теперь действующая реликвия, патриарх, гуру. Позволил себе даже быть без орденов, медалей, пустой пиджак.

Глядя на них, хотелось думать, что все они так или иначе пережили эту страшную войну, или блокаду, что, наверное, все имеют инвалидность, болезни, раны. Фронтовиков среди них, конечно, немного, сохранились служаки второго эшелона, медики, транспорт, вещевое довольствие, горюче-смазочное, много было всяких служб. Им тоже доставалось. А после войны советская наша жизнь, быт наш, тоже награждал и обидами, и бедностью, и коммуналками. Но я думал о тех, кто погиб в первые два года войны. Когда мы отступали, драпали, когда казалось, все, конец, Советская страна не устоит. Офицеры стрелялись, позор поражения, плена был невыносим. Никто не представлял, что сумеем отстоять Ленинград. Гибли, умирали, в отчаянии за Родину, униженные своим бессилием, своим неумением воевать. Я знаю эти чувства, я нахлебался этого стыда сполна и в 1941-м, и в 42-м, и позже.

Так ничего они не узнали о Победе. Миллионы легли в землю непобедившими. Вот что горько и, увы, — непоправимо. Одна женщина сказала мне: «Нет, нет, все же Господь даст им знать, какая-то связь должна существовать». И в самом деле, невыносимо смириться с тем, им останется навечно неведомо завершение войны.

2010

Уровень

Авария на Саяно-Шушенской ГЭС была катастрофой. Техногенная катастрофа мирового масштаба. Ведь это сооружение было гордостью мировой энергетики. Сооружение планетарное,

плотина с напором в 240 метров. Никто из специалистов не представлял себе, что подобное мгновенное разрушение может произойти. Понадобилась целая цепь грубейших нарушений всех правил, инструкций, причем длительностью в годы, некоторые в десятки лет, чтобы авария могла произойти. Нарушения копились и копились.

Авария в миллиарды рублей. Погибло 75 человек. Начались разборки. Вряд ли мы дождемся результатов. А. Б. Чубайс сразу же выступил с заявлением, признавая свою вину как бывший (!) глава Российской энергетики. Хотя он принял станцию, уже работавшую плохо 20 лет.

Но вот что интересно — никто больше из руководства не присоединился к нему. Никто не виноват. Никто не взял на себя ответственности. Ни директор, ни главный инженер, ни проектировщики, ни изготовители турбин, ни строители. Никто не подал в отставку.

* * *

Требовать от ребенка правды, всегда правды — загубить фантазию.

* * *

Выучить было трудно, а вот забыть еще труднее. Это по поводу «Краткого курса ВКП(б)». Сколько молодой жизни было потрачено на это пустое, лживое сочинение.

* * *

У С. в романе гладиаторы едят сосиски с горчицей.
— Вы уверены? — спросил редактор.
— Самая дешевая была еда! — отвечал С.

* * *

Преступник до какого-то предела может еще раскаяться, но если переступит, то все.

Раскольников у Достоевского пока пишет свою статью, теоретизирует, его можно переубедить, когда убил — он

переступил. И хотя он понимает свое преступление, а раскаяния нет. Как бы ни старалась Сонечка, не может ни любовь, ни Евангелие вернуть его. То, что пишет Достоевский, неубедительно. Ничего поделать со своим героем не может. Герой уже переступил и не подчиняется ни автору, ни Богу. Он во власти своей идеи, он ее осуществил. Достоевский в силу своего человеколюбия навязывает ему раскаяние, но получается принуда.

* * *

Больше всего человека должно было бы интересовать, кем бы он мог стать, правильно ли он выбрал свой путь, осуществляет ли он себя. Занимаются этим в юности, позже уже неохота. Жизнь менять неохота. Тем более если преуспел — разбогател или сделал карьеру. А был ли это наилучший вариант — неважно.

* * *

Наука беспомощно отступает перед красотой цветка, умением кошки находить дорогу, тайной того, что творится в глубинах земли, равно как и человеческой души.

На войне

— Мы вас заставим родину любить!

* * *

— Второй фронт! Ишь как он на капиталистов валит, а почему мы не открыли Второго фронта, когда немцы напали на Англию? А?

— Прикусил бы ты язык, стратег хренов, кормилец вшей, наше дело знаешь — «Смело мы в бой пойдем за власть Советов и как один умрем в борьбе за это!».

— Правильно, вот я и не стесняюсь. Мы с тобой БУ, в смысле ХБ-БУ, кирза стоптанная.

* * *

Не помню, чтобы Сталин выразил соболезнование семьям солдат, погибших в Великой Отечественной войне. Не установил заботы о сиротах, о инвалидах войны. Никаких актов милосердия, ничего сердечного не проявил после Победы, ни отзывчивости, ни поблажек.

* * *

Ю. Тынянов написал: «Если ты недоволен эпохой — охай».
В. Александров добавил: «Если ты недоволен женой — ной».

* * *

То, что пишешь о себе, это самый достоверный материал. И самый лживый.

* * *

Пехота — пролетариат войны.

* * *

«Давай напиши в сводке „уничтожено не тридцать, а пятьдесят солдат… и еще — рассеяна рота противника“».

* * *

Начальство и времен Горбачева, да и нынешнее все время призывает не ворошить историю Большого Террора, репрессии, а историкам так прямо рекомендуют: «Хватит ворошить прошлое». Но чем же тогда им заниматься?

* * *

В «Российской газете», в статье В. Дымарского приводится цифра общих потерь в Великой Отечественной войне — 30 миллионов!

Новейшая, самая последняя цифра — 40 миллионов! Соотношение советских и немецких потерь: 10:1 (2003 г.). Страна

надорвалась. С этой грыжей мы хромали 65 лет и уже 70 лет хромаем. Сироты, беспризорники, потому как безотцовщина переходит из поколения в поколение. Пострадал весь генофонд народа. Распространился туберкулез, а ведь был ликвидирован. Всю войну армию поили водкой. Приучили и тех, кто не пил. Немудрено, что алкоголизм вырос до чудовищных размеров. Нигде нет такого пьянства водителей.

Тяжелые последствия войны неизбежны, но у нас эти последствия не стали ликвидировать, а стали делать танки, ракеты. И то и другое потом распиливали и переходили к новым моделям. Мы выиграли Великую Отечественную войну и потерпели жестокое поражение в холодной войне. Остались нищими, больными, обозленными. И что еще — потеряв мечту о социализме, получив всеобщее разочарование, люди поддались безудержному культу рубля. Это ничуть не лучше культа вождя. Главное теперь деньги. Раньше речь шла о достатке. Купить машину. Холодильник. Посмотреть Париж. Теперь иметь счет в банке. Побольше. Еще больше. Миллион. Во что бы то ни стало. «Мы за ценой не постоим». Это пели про Победу. Теперь цена — это просто виллы, бриллианты, земли, недвижимость. И за ценой не стоят… Теперь жертвуют совестью — своей, репутацией — своей. Не жалеют.

Без конца мы поносим бездуховность США, а там в год покупают книг и газет на 29 548 миллионов долларов. Это первое место в мире!

* * *

У английской молодежи есть свои кумиры ученых. Например, замечательный астрофизик Стивен Хокинг. Или Стив Джоб. Книга Хокинга «Краткая история времени» распространилась тиражом 10 миллионов! Ничего подобного у нас не припомнится!

* * *

Наши чиновники обрели стойкую привычку врать. Ложь обязательна в их общении с начальством: «нужные меры приняты», «положение под контролем!». Доложить, успокоить, а там что-нибудь придумаем. Особенно на селекторном совещании. Не видно, какая деревня горит, — «пожарные команды на месте». Начальство оповещено, деревня Новоселки догорает, это неважно, важно пудрить мозги, доложить вовремя, отчитываемся мы перед

руководством, а не перед погорельцами.

— Я отвечаю перед народом, в первую очередь перед министром!

* * *

Не помню, кто именно сказал: «В русской литературе лучшее будущее — ее прошлое».

* * *

Однажды мой старый друг спросил меня, каким образом мы с ним дошли до ненависти к существующей власти, ее чиновникам, ее судьям, ее партиям, ее министрам. Ведь мы когда-то были активными комсомольцами, верными знаменосцами коммунистического режима. Ни о какой оппозиции помыслить не могли. Всё прощали, всё оправдывали, всему верили. Образцовые совки. Адепты. Марк, так его звали, талантливый физик, он участвовал у Курчатова в работе над бомбой. Кое-что ему удалось прибавить, сделать. А потом он, награжденный, обласканный, покончил с собой.

Да, мы прошли долгий и горький путь, пока познали бесчеловечность навязанного нам строя. Он написал в предсмертной записке:

«Я понял, что сделал эту власть, эту идеологию еще прочнее. Режим может меняться и будет меняться, но суть нашей подлой системы, где человек ничтожество, останется прежней. Мои друзья один за другим репрессированы. Сейчас Виль Тимофеев вернулся из лагеря. Мы встретились, он плюнул мне в лицо…»

Черепаха с неба

Великий драматург Древней Греции Эсхил жил в 525–456 годах до нашей эры. В те времена проходили публичные соревнования драматургов. Многие историки искусств считают его величайшим из поэтов, особенно по силе языка. Хотя на соревнованиях сочинителей публика первое место отдала Софоклу. К сожалению, большая часть написанных Эсхилом трагедий утрачена, сохранилось только семь (из семидесяти).

Знатоки убеждены, что переводы не могут передать блеск стихов Эсхила.

Удивительно все же соседство Эсхила и Софокла, как они встретились во времени и в пространстве. Впрочем, культура Древней Греции — это сгусток, совмещение художественных гениев в скульптуре, архитектуре, литературе, философии — концентрат невиданной во всей истории мировой цивилизации.

Эсхил, судя по трагедиям, верил в чудеса, в оракулов, в подземных богов.

В истории Греции, написанной замечательным ученым Геродотом, герои то и дело обращаются к оракулам. Дельфийский оракул подтверждает Гигесу право на царствование. Пифия в Дельфах требует восстановить сожженный храм, советует заключить перемирие.

Оракулам приносили жертвы. Оракулов проверяли. Так Крез несколько раз проверял прорицания Дельфийского оракула и убеждался в его правдивости. Он спрашивал, долго ли будет существовать его держава. Изречения Пифии записывались, становились известными.

Она, например, предрекла поэту, что он погибнет от удара с небес. И через несколько лет ему на голову падает черепаха, которую выронил из когтей орел. Как после этого не верить оракулу.

* * *

Человек — это смертное божество, боги — это бессмертные люди.

Гераклит

Спать — это проснуться.

Он же

* * *

Характер человека — это его судьба.

Он же

* * *

Были замечательные изречения (максимы) греческих

мудрецов, некоторыми из них мы пользуемся и сейчас во всех науках.

«Познай самого себя».

«Ничего слишком».

* * *

Поэтическое чутье греков помогло сохранить нам Гомера, отобрать его творения из множества подражаний.

* * *

Иногда предсказывания Пифии толковали неправильно, тогда происходили неприятности.

Греки умели толковать сны.

* * *

Заспорили с Елизаровым о том, зачем пакт заключали с Германией. Комиссар сказал: «Лучше пусть я ошибся вместе с партией, чем буду прав, но один, вне ее».

* * *

«Россия — это всегда европейские слова и азиатские поступки», — заметил кто-то из русских философов.

* * *

Много ездить, бывать в разных местах, знаменитых и необычных: на Байкале, на Памире, на Камчатке, конечно, в Прибалтике и в Сванетии, есть шашлыки в духане, пить кумыс, есть бешбармак, кататься на лыжах в Домбае, подняться на Эльбрус, увидеть Палангу, эту песчаную косу, как ее там, белые ночи в Ленинграде, совершить путешествие по Волге, посмотреть церкви в Угличе, под Вологдой, и, конечно, Кижи, а еще Валаам, ах да, Соловецкий монастырь. Все это так приятно упомянуть, рассказать, показать цветные слайды. Это программа, это цель. Это да.

Или.

Продвижение по научной стезе? Кандидат. Доктор. У вас сколько статей? У меня 100,150,200. Член редсовета. Член Ученого совета. Завлаб. Доцент. Профессор. Член, член, член…

Раздобыл Булгакова, старинная люстра, старый сервант, польский сервиз…

Это набор родителей. У детей другой, у внуков третий. И всякий раз не хватает чего-то главного.

* * *

Оказалось, мы, как видно, остались лишь двое из всего класса. Перебирали имена — умер, погиб на войне, пропал, уехал и неизвестно. Не вернулись с войны Вадим Пушкарев, Митя Павлов, Сева Махоткин, Мося Раппопорт и еще, еще. Имена эти говорили что-то уже только нам. Мы единственные знали, что они должны были стать великими физиками, как Сева Махоткин, Вадим, математиками, поэтами, как Эрик Горлин. У Игоря сохранились его стихи. Даже письмо с фронта. Эрик был самой таинственной личностью в классе. Что-то чужедально-романтическое было в нем, к тому же он еще сам это поддерживал — английские словечки, цитаты из Байрона, Стивенсона. Большое лицо, челка чуть набок, и едва уловимый акцент. Или он его сделал. Мы в юности любили чего-то изображать. Но у Эрика действительно в детстве, кажется, была Шотландия, откуда он с матерью уехал. Тогда их фамилия была — Старк. А фамилия Горлин была по отчиму, известному переводчику с английского. Эрик в классе дружил с Игорем — поэтому Игорь кое-что знал и теперь, спустя полвека извлекал из своей памяти прошлые секреты. Вспомнил о фронтовом письме Эрика. У Игоря аккуратно сохранились мелочи наших школьных лет.

Письмо Эрика — ясный мелкий почерк, лиловые чернила, узкие листки бумаги. Штамп военной цензуры: «просмотрено». Дата —14 января 1943 года. Писал, сидя на наблюдательном пункте у стереотрубы. В зубах трубка, упомянул (!), и на фронте продолжал пижонить, мы все крутили цигарки из газетной бумаги, а он трубкой красовался. Правда, тут же он признался, что в трубке «отвратительная бурда из махорки, вишневого листа и опилок, мне, однако, кажется она не хуже английского кэпстена. Sic transit gloria mundi».

К письму приложил несколько переводов. Умудрялся заниматься этим на НП. Из Джона Мейсфилда:

Смерть моряка

На мокром деке у борта лежал он недвижим,
Никто его не замечал и слез не лил над ним,
Он просто умер — вот и всё, и жизнь прошла как дым.
К штирборту боцман подошел и сплюнул в пенный вал,
Он в парусину труп зашить немедля приказал.
«Эй пошевеливайтесь, вы, ублюдки!» — он сказал.
И медный месяц поднялся, над бледным морем встав,
Когда на дно был спущен труп, во мглу подводных трав,
И все забыли про него, последний долг отдав…

Весьма подходило к нашей короткой фронтовой жизни. В письме было про нашего одноклассника Волю Энгеля, друга Эрика и Игоря Сахарова. Дружный наш класс состоял из отдельных троек, четверок особенно близких, потому что нельзя дружить сразу со всем классом. Эрик сообщал, что последний раз видел его в марте 1942 года: «Я шел с Петроградской стороны на Знаменскую около трех часов, отдыхал 25 раз. Дистрофия, брат, не шутка. Сейчас я принял свой прежний добротный англосаксонский вид, только вот шевелюра после госпиталя не отрастает».

Впоследствии этот англосаксонский вид, трубка и прочая показуха сыграли с ним плохую шутку. Подробностей я не знаю, знаю лишь то, что вскоре, кажется, после войны, его арестовали, и дальше неизвестно, очевидно, погиб в застенках «бдителей». У Игоря сохранилось десятка два его переводов английской поэзии. Судя по ним, переводчик Эрик был превосходный.

От Воли Энгеля, его ближайшего друга, вообще ничего не осталось. Смутная бесцветная тень, отрывок, который чудом удержался в памяти:

Я атомов сложных система,
Тема томов неписанных…

* * *

Война это понятно, а вот СЛОНы, ГУЛАГи — это уже чисто наше, советское, сталинское, ленинское. В Париже на русском кладбище Св. Женевьевы я долго ходил от могилы к могиле — деникинцы, дроздовцы, Иван Бунин, Тэффи, Александр Галич,

Виктор Некрасов, артисты, историки, изобретатели, художники. Кроме России расстрелянной, сосланной, сгинувшей в тюрьмах, была еще эта — ее изгнанники. Был солнечный день поздней осени. Все кладбище пестрело цветами. Шары из цветов. Из-за цветов аллеи не выглядели пустынно. Кто-то ведь приходил сюда, поливал, ухаживал. И это ощущение присутствия и покинутости одновременно, оно все время возвращало меня к мысли горькой и счастливой, тоже одновременной — как талантлива Россия, как многого она лишилась. Если бы все они оставались с нами — страна была бы другой, мы были бы другими и лучше, богаче, краше. Зачем судьба разделила нас на белых и красных? Враги народа, изменники Родины, предатели, выродки, как только не клеймили их. А теперь они стали нашим укором, нашей славой: Андрей Тарковский, Рудольф Нуриев, Мережковский, Тэффи…

Было такое поколение

Мой сосед Анатолий Ефимович Горелов просидел 17 лет в лагерях. За политику. Был он одним из руководителей Союза писателей. Вернулся живым, энергичным, начиненный таким жизненным материалом — позавидуешь. Жена его Роза Рафаиловна тоже отсидела свой срок.

Репрессии для Анатолия Ефимовича были всего лишь особенностями сталинского режима. Советская власть благом. Если бы руководство перешло С. М. Кирову, все сложилось бы счастливо. Сомнений в ленинской политике не было. Меня, так же как своего сына, считал потерянным поколением. Мы утеряли из-за Сталина веру в социализм. Порой я завидовал его неколебимой вере, его культу Кирова.

37-й год разделил отцов и детей. Отцы сохранили что-то от революционных мечтаний. Дети избавились от иллюзий и приобрели устойчивый скепсис.

Ежевечерне Горелов слушал Би-би-си, ретранслировал окружающим их передачи. С удовольствием отбирал выдающиеся глупости правительства, где один неудачник сменял другого. Показывал нам, насколько в его времена власть была чище. Повторял Лермонтова:

Толпой угрюмою и скоро позабытой
Над миром мы пройдем без шума и следа.

Горелов понимал Дору Лазуркину, старую большевичку, знаменитую тогда тем, что предложила на съезде партии вынести

из мавзолея труп Сталина, похоронить его отдельно у Кремлевской стены. Хрущев поддержал ее, и Сталина перезахоронили. Ночью, чтобы «не волновать».

Она же не согласилась отдать под суд следователя, который пытал ее. Сказала, что это будет дискредитировать партию.

Я не поверил, что человек, отсидев 17 лет безвинно, способен защищать своих судей. Я решил удостовериться и отправился к ней. Весьма энергичная подвижная старушка разъяснила мне, что такой процесс нанесет еще один урон партии. И без того она пострадала, надо сейчас укреплять ее авторитет. Говорила убежденно, с жертвенным пафосом. «Кому вы хотите мстить? Сталин исказил ленинские заветы, наше дело восстановить доверие к партии!»

Был Шаламов, был Солженицын, но были и такие, как Лазуркина и Горелов.

Когда я сказал на правлении Союза писателей, что следовало бы нам выступить в поддержку Хрущева, призвать партию покаяться, мне рассказали про одного секретаря обкома, который предложил покаяться. Его изругали — кому дело до нашего дерьма, чего нам его тыкать молодежи, избавились и ладно. Зачем нам топтаться в проклятом прошлом, в этом криминале? Пусть каждый, если хочет, кается в своих грехах. Есть виноватые, есть и невиноватые. Победа в Великой Отечественной войне помогает вытеснить из сознания наши тяжелые ошибки.

И переизбрали этого секретаря.

Диалог с Даниилом Граниным

длиной в 20 лет

Вместо пролога

Вот уже в третий раз — с периодичностью через каждые десять лет — на веранде его дачи в Комарово я беседую с человеком, книгами которого зачитывался еще в студенческом общежитии на Стромынке. В первый раз, 20 лет назад, он, ссылаясь на Фромма, высказал прогноз: в ближайшее время у нас в стране модус обладания может резко, подавляюще превысить модус бытия. Эрих Фромм в знаменитом философском труде «Иметь или быть?» исследовал непростое взаимодействие между этими самыми модусом обладания и модусом бытия. Веками человечество искало способы развязать сей гордиев узел. И Будда

звал не подчинять душу собственности. И Христос предупреждал: ничто не утешит человека, обретшего весь мир и потерявшего себя. Но люди не спешили внимать мудрым советам.

10 лет спустя, на той же веранде я спросил его: «Ну, а как у нас сейчас дела с модусами бытия и обладания?» Ответ получился неутешительный.

Прошло еще 10 лет. И снова мой собеседник — Даниил Гранин.

— Даниил Александрович! Не решаюсь начать с ***традиционного*** *в наших беседах вопроса о модусах. Слишком уж очевиден ответ. И все-таки — удастся ли нам вернуться к нормальному человеческому бытию, где не все будет определять диктатура денег? Видите Вы для этого точки опоры, если не в настоящем, то хотя бы в прошлом или будущем?*

— Для меня это довольно трудный вопрос. Конечно, утешение можно всегда отыскать в будущем. Оно ведь полно утешительных надежд.

К сожалению, наша жизнь в течение многих лет была заполнена обещаниями. Да и сейчас такой остается. Все правители у нас — футуристы. Любят говорить о благоденствии в грядущем. Но не очень-то любят вспоминать потом, что они не выполнили из обещанного. Так что настоящее их не интересует — только будущее, в котором располагаются все прелести, не состоявшиеся в нашей жизни. При этом оно, будущее, в их обещаниях всегда оказывается более правильным, гуманным, человечным.

И вот вы меня приглашаете опять в будущее, о котором можно наговорить все, что вам хочется. И мне хочется. И нашим правителям. Словом — хочется всем. А жизнь меня учит: не надо в своем самоуспокоении опираться на него, на будущее. Не надо тем более искать утешение — что еще труднее — в прошлом. Надо иметь мужество опираться на настоящее.

Теперь, что касается культа денег. Да, мы раньше жили аскетически бедно, и модус обладания в СССР часто сводился просто к нулю. Поэтому вполне естественно стремление многих наших людей, проявляя инициативу, самоутвердиться в бизнесе, обеспечить себя и семью материальными благами. Но случилось так, что индивидуальный, созидательный бизнес не получил у нас развития.

Когда коммунистическая идеология захлопнулась и ее место заняла неограниченная возможность воровать, спекулировать ценными бумагами, недвижимостью и вообще всем, чем угодно, продавать товары, продавать родину как товар, ее недра, нефть, газ, ее леса и т. д., ловкачи воспользовались этой возможностью

на все 200 процентов. Не созидатели, а ловкачи, они захапали богатства, созданные мозгами и руками предыдущих поколений. Почти весь наш бизнес грязного происхождения, соответственно новому времени. Словом, модус обладания восторжествовал у нас в самом наглом и неприглядном виде, став гангреной для всего общества. Во всех областях работы и отдыха ради наживы обесценивается жизнь человека.

— Не связана ли с этой диктатурой и цепная реакция центробежных процессов, которые вот уже два десятилетия сотрясают страну — от распада Союза до раскола театров и газет? У всех еще в памяти прошлогодний уход Юрия Любимова из созданного им театра-легенды. Мне — да только ли мне? — при этом приходит на ум «Репетиция оркестра» Федерико Феллини…

— Очень хороший фильм.

— В нем тоже вроде бы каждый оркестрант вспомнил, что он — неповторимая, подавляемая, оскорбляемая дирижером личность. И оркестр «сверг» дирижера. Ни к чему хорошему это не привело. И в конце концов ради сохранения гармонии, слаженной, согласованной музыки, все возвращается на круги своя. Но уже на другом, более высоком витке понимания смысла жизни и творчества. К сожалению, у конфликта на Таганке случился другой финал. Почему?

— Знаете, однажды актеры театра Аркадия Райкина написали на него очень злобный анонимный донос в обком партии со стандартным набором претензий актеров к режиссеру, что он, мол, зажимает молодежь, не дает ей ролей и так далее. Пригласили Аркадия Исааковича в обком. Показали анонимку: «Что вы об этом думаете?» — «А что я могу об этом думать?» — «И все-таки?» — «Так я вам скажу, что я об этом думаю: это взбесившийся гарнир». Грубо, но верно.

В театре Любимова была другая, конечно, ситуация. Среди его нынешних оппонентов было немало хороших актеров, индивидуальностей. И время другое. Театр во многом — семья, это семейный конфликт. И я не хочу задним числом участвовать в выяснении их внутренних бракоразводных тяжб. Но Любимова лично люблю. За независимость, непреклонность, увлеченность. И одно знаю: ушел Товстоногов — и нет БДТ. Это уже другой театр. Так и здесь. Ушел Любимов — не будет больше той, легендарной, любимовской Таганки. Другой будет на ее месте театр.

— Почему сегодня у нас подобные конфликты развиваются не по феллиниевскому сценарию? Почему когда от Художественного театра Станиславского и Немировича отпочковалась его третья студия, по сути, оппонировавшая ему, дело закончилось

«Принцессой Турандот» и рождением Вахтанговского театра? Тот первый, великий, общедоступный МХТ, если судить по булгаковскому «Театральному роману», по человеческим взаимоотношениям внутри него, тоже ведь был далеко не богадельней. Но тогда это было столкновение личностей, характеров, разного понимания, смысла и целей искусства, а сейчас…

Характер у Любимова, может быть, и капризный, но действительно непреклонный. И отношения его с актерами на всем протяжении истории Таганки складывались по-разному. От него и уходили. Но я не могу себе представить ни Славину, ни Демидову, ни Высоцкого, ни Филатова, ни Губенко, предъявляющими к нему претензии на том уровне, на котором предъявила их ему нынешняя труппа. Что-то изменилось во времени, в людях?

— Вы сами и ответили на свой вопрос. Это были другие люди, из другого времени, воспитанные на уважении к традициям. У нас же сегодня в масштабах всего общества связь времен, связь поколений резко оборвана. И мы, судорожно мечась между разными панацеями в виде спасительных «национальных идей» и тому подобного, никак не можем определить место обрыва и связать концы с концами, восстановить эту самую связь времен.

— Мне кажется, вопрос этот мучает вас и в «Вечерах с Петром Великим», книге весьма злободневной, хотя ***внешне*** *событиями своими и отдаленной от нас на три столетия. Казалось бы, ну что нового можно сказать о личности и реформах Петра после Пушкина, Соловьева, Ключевского, Алексея Толстого? Но — каждое время осмысливало историю по-своему. И вам, на мой взгляд, удалось сделать это именно с позиций нашего времени, причем все аналогии, сравнения с сегодняшним днем, возникают естественно, без очевидного авторского нажима.*

По расхожему стереотипу, Петр только тем и занимался, что рвал связь времен, ломал отечественную историю через колено, переиначивал все русское на чужое, иностранное. А вот в «Вечерах» есть такой эпизод. Царь повелевает начать изготовление изразцов по новой голландской технологии, но рисунки на них приказывает наносить русские. Не так, оказывается, прост был человек, о котором Максимилиан Волошин написал убийственные строки: «Великий Петр был первый большевик… не в мраморе, а в мясе высекал он топором живую Галатею». В вашей трактовке, по-моему, Петр задумывается над тем, как, обрубая старые ветви, открывая путь новым, не повредить все же и корни. И это особенно важно усвоить во времена, когда мы беспечно, бездумно

роняем эстафетную палочку нравственных законов, обычаев, традиций, передаваемых от поколения к поколению. Правильно ли я вас понял?

— Тезис о том, что Петр рвал связь времен, стриг бороды, заставлял одеваться на заграничный манер, вводил принудительные ассамблеи, — все это нельзя рассматривать вне контекста тогдашнего выхода России как новой мировой державы на европейскую арену. Бороды-то он стриг принудительно. Но ведь потом, после его смерти, никто не стал их снова отращивать. Петровские новинки прижились. Да, он заставил дворян одеваться в более удобное, чем дедовские кафтаны, европейское платье. Но никто потом не полез назад в кафтаны. Он, опять же силой, послал молодых людей учиться в Европу. Кто-то учиться не стал и вернулся домой Митрофанушка Митрофанушкой. Но кто-то — и, пожалуй, таких большинство — учился на совесть и составил потом интеллектуальную элиту новой, молодой России.

Не все сопротивлялись Петровским реформам. Молодому дворянскому поколению они пришлись. Так что реформы эти не были насилием над русской жизнью. Они отвечали назревшим новым ее потребностям. Петр не насиловал Россию, нет! Он лишь толкал ее в европейское просвещение. Петр совпал с потребностью времени.

Это не исключает и не оправдывает, конечно, то нетерпение, с которым Петровские реформы проводились. Однако у этой черты в характере первого русского императора были свои личные мотивировки — Петр начал с того, что рубил головы стрельцам. Но эти стрельцы когда-то на его, тогда еще мальчика, глазах растерзали его родню. Вы думаете, в европейской истории было меньше тогда жестокости и крови? Не Европе упрекать нас в жестокостях Петра!

— Есть разрывы «ткани общества» по вертикали: между поколениями. Еще резче разрывы по горизонтали: между «социальными слоями». У нас в «Новой газете» была в свое время рубрика «Забытый полк». Одноименная передача была на ТВ. В одном из ее выпусков участника отряда, занимающегося поисками незахороненных солдат, павших на Войне, восстанавлением их имен, спросили: «Если бы ты жил в 1941 году, пошел бы добровольцем на фронт?» Ответ был: «Конечно». — «А случись война сегодня, пошел бы?» — «Нет». — «Почему?» — «А что защищать? Миллиарды наших олигархов?» Недавно в интервью одной из газет Вы сказали буквально то же самое. Из двух зол, разлагающих современную российскую армию, первым назвали культ рубля, а вторым: «Понятие патриотизма обмельчало,

истощилось. За что воевать? За олигархов?»

— Я сам в сорок первом пошел добровольцем в народное ополчение. Провел всю войну с первых ее месяцев почти до самой Победы на передовой. Но сегодня… Действительно непонятно, за что сегодня воевать, что защищать. Наше общество расколото. Власть полна коррумпированными чиновниками. Защищать их особняки?

В СМИ называется цифра: в последние годы страну покинул 1 миллион 300 тысяч ученых и инженеров. И поток этот, это бегство не прекращается. Репрезентативны данные «срезов» «Левада-центра»: 28 процентов опрошенных молодых горожан ответили, что хотели бы уехать из России навсегда.

Но в обоих случаях — вопрос: почему? По разным, конечно, причинам. Однако не последняя из них: потому что патриотизму у нас нечем сегодня питаться. Слишком много сделано в последние годы для выхолащивания ценностей и смыслов из умов молодых. Отняли даже возможность глубоко изучать в школах отечественную литературу. Мы плохо, гораздо хуже, чем молодое поколение 1941 года, знаем свою поэзию, музыку, живопись. Даже песни поем старые, советские — равноценных нет.

Совершенно отвратителен, постыден и уж, конечно, не располагает к патриотизму контраст между тем, как живут наши VIPы и обыкновенные люди.

Вот опубликовали список доходов сенаторов из Федерального собрания. Откуда эти сумасшедшие цифры? Ограбили и убили эти люди кого-то, что ли? Или государство ограбили? Казнокрады, значит? Так тогда их надо гнать взашей, прямо в тюремные камеры! Но на этой черте, особенно когда речь идет о вершинных постах в государстве, наши судьи, наши СМИ, за редкими исключениями (в них я включаю и вашу газету) останавливаются. Дальше — молчок, табу.

Известный депутат. Заработок за год — умопомрачительное количество миллионов. Откуда — необъяснимо, если исходить даже не из элементарной социальной справедливости, а просто из элементарного здравого смысла.

Руководители государства могут без конца говорить о борьбе с коррупцией, создавать комитеты и комиссии по этой борьбе, но и они не объясняют, из каких корней произрастают основы благоденствия высшего чиновничества. Борьба с коррупцией проходит на уровне автоинспекторов и стрелочников. Ну а выше что? А я хочу, чтобы отдали под суд высокопоставленного чиновника, министра, депутата, который обворовал на миллиарды государство. Мне в ответ отдельные такие примеры, конечно, могут откопать. Но много ли подобных примеров на

самом деле вы знаете? Время от времени все же публикуются в газетах, показываются по ТВ острые материалы, добываемые журналистами с большим трудом, а то и с опасностью для жизни, часто — и ценой собственной жизни. Но они не приводят к общественно значимым результатам. Пишите, мол, говорите, показывайте, а мы как делали, так и будем делать.

— Когда-то у чиновников во власти была обязанность: в месячный срок сообщать газетам о принятых мерах. Теперь и этого, по сути, нет, хотя, может быть, и прописано где-то в каких-то параграфах…

— В результате в общественном организме накапливается неизрасходованное раздражение, ощущение бессмысленности борьбы со всеобщей, сверху донизу, коррупцией, ее безнаказанности — общественный организм и наши индивидуальные сознания уже отравлены этим ядом. Что далеко не безобидно, в том числе и когда встает вопрос: что и кого защищать в современной России, против кого и за что бороться?

— Действительно, погоня за сверхприбыли — плохая почва для патриотизма и вообще для любого светлого человеческого чувства. Вспоминаю, как на презентации проекта «Песни нашего века» физик, поэт и композитор Валерий Миляев сказал: «Мы „едем за туманом“, продолжаем это делать, хотя рельсы пошли уже совсем в другую сторону. А вот попробуйте, напишите песню и спойте ее так, чтобы люди прослезились, о том, как приятно заработать миллионы долларов или купить замок!»

— Правильно. Но это — песни. А кумиры на самом деле вполне могут быть связаны и с тем же модусом обладания. Миллиардер Билл Гейтс, например, — хороший пример для подражания. Ведь его миллиарды — следствие сверхновых идей в области информационных технологий, компьютерных программ. А посмотрите на наших миллиардеров. Откуда им сие? Где их сверхновые идеи? Где среди них наши российские гейтсы, эдисоны, форды или хотя бы братья-изобретатели «Макдоналдса»?

— Отдельные примеры, опять же, и у нас найдутся. Например, Дмитрий Зимин не только с его «Билайном» (вот вам высокие технологии), но и с благотворительным фондом «Династия», с программами поддержки молодых ученых, премией «Просветитель», книгоизданием.

— Но вы сами говорите: это редкие исключения. А если взять большинство наших «успешных» олигархов, трудно объяснить источник их внезапного, мгновенного обогащения. Власть захватывают, чтобы разбогатеть.

Ни про кого из них мы ничего толком не знаем: как складывалась их биография, по каким путям — честным, не честным или даже преступным — шли они к успеху. Тайна сия велика есть. Где реальное воплощение их успеха — неоспоримое, как «Форд» и Windows? И где основание у нынешней молодежи брать их в кумиры?

— Это правда. Вот редакция ЖЗЛ затеяла новую серию — о ныне здравствующих «замечательных людях». Но книги о Зимине там нет.

— А вот в Америке полно биографических книг о тамошних миллиардерах. Почему? Потому что они вдохновляют, соблазняют молодых людей что-то придумывать, изобрести, действительно организовывать. А у нас есть подобная литература? Может быть, где-то и есть. Но такой, чтобы со всероссийским резонансом, я не могу назвать.

У нас вообще сейчас дистрофия героев, кумиров, примеров, достойных строк Маяковского: «сделать бы жизнь с кого». Он это рифмовал с фамилией Дзержинского — весьма спорной сейчас исторической личности. Действительно, у молодого поколения, выросшего уже при советской власти, в кумирах были Дзержинский, Киров, Ворошилов (даже песня была: «И с нами Ворошилов, первый красный офицер…» — еще до восстановления офицерских званий в Красной армии), Буденный — вообще половина Кремлевской стены. Сегодня — все это развенчанные герои. Разве что Чапаев остался не только в анекдотах, но и в классическом кинофильме. Правда, молодежи нынче трудно выбирать, на чью сторону становиться — Чапаева или Колчака. Герои-то они несовместные.

А подлинный кумир собирает в себе любовь всего поколения. Последними такими объединительными личностями были Сахаров, Лихачев, Королев, Гагарин, еще два-три крупных, великих ученых. Но вообще прошлый век, может быть, был и богат на гениев, но крайне беден был у нас на святых, чтимых всем народом, особенно молодой его порослью. Не говоря уже о веке нынешнем, когда (посмотрите хотя бы на наши телеэкраны!) у нас в крайнем дефиците такие простые, очевидные ценности, как милосердие, сострадание, самопожертвование, верность, благородство, совесть. Обходимся без образцов, примеров. Страна живет с опустевшими пьедесталами. Стоят мраморные столбы, и там — никого.

— В прошлом нашем диалоге помянуты были ахматовские слова: «Кто знает, как пусто небо на месте упавшей башни…» Вы тогда сказали: «Может, это не пустота, а пауза — гении являются в положенный час устами». Не слишком ли затянулась

пауза?

— Ну, это как раз зависит и от того, создаем ли мы условия для ее преодоления.

— *Кто должен взять на себя такую задачу?*

— Никто. Кумиров не в силах родить ни правительство, ни даже какая-либо широкая общественная инициатива. Они рождаются без их ведома. Их повивальная бабка — всеобщая потребность народа.

— *Но потребность эту должен кто-то выразить, оформить? Положим, национальным героем Чапаев стал во многом благодаря легендарному фильму. В искусстве была тогда такая потребность — предлагать, формировать представление об идеалах, хотя, конечно, часто это делалось по социальному заказу.*

— Искусство давало не идеалы. Оно давало героя, который становится идеалом. Ошибка Никиты Михалкова в «Утомленных солнцем-2» в том, что он «ставил шедевр». Нельзя ставить шедевры. Надо ставить кинофильмы. Нельзя создавать образ героя, который должен стать кумиром для всех. Люди сами найдут среди создаваемых искусством образов такие, которые возьмут в примеры для себя. Нашли же в свое время такого героя в Павке Корчагине.

— *Николай Островский и те, кто помогал ему готовить к печати «Как закалялась сталь», такой задачи и не ставили. Был в первоистоке просто рассказ — исповедь об одной потрясающей человеческой судьбе, как бы потом это все ни оформлялось идеологическими подпорками.*

— О чем я вам и говорю. Другое дело — молодости в жизни всегда нужны примеры. Я вот в юности читал «Мартина Идена» Джека Лондона, и мне он очень нравился. Интересен был Рахметов. Сегодня это, может быть, выглядит наивно. Но — было такое время. Кто знает, может, и наше время через 40 лет покажется глупым и наивным. Но это потребность каждого времени — иметь свои примеры, своих кумиров, которым ты можешь отдать симпатии, любовь. Которых можешь выбрать в качестве жизненной опоры.

— *Согласен: настоящий художник не ставит перед собой целью их сотворение. Но все же не только по неисповедимым путям читатели выбирают себе в кумиры одних литературных персонажей и не выбирают других. Вот все ваши книги об ученых — от* «Искателей» и *«Иду на грозу» с их довольно рельефным «оттепельным» оптимизмом — до «Места для памятника», «Этой странной жизни», «Зубра», где уже на ином, более высоком (или более глубоком?) жизненном витке куда больше печали и горечи от*

многой мудрости — они ведь не столько о науке, сколько о жизненном выборе. Между модусом бытия и модусом обладания, в конце концов. О нравственном наполнении времени, отпущенного нам на личное бытие.

Вы в прошлый раз говорили мне, что до сих пор удивляетесь, когда разные люди уверяют, что ваши книги повлияли на их жизненный выбор. Тут можно, конечно, предположить и некоторую комплиментарность читателей в адрес автора. Однако и мне довольно часто, и тоже до сих пор, встречаются ученые, которые на вопрос, что позвало их в науку, среди других мотивов называют ваши книги.

— Я вам вот что скажу. В науке гораздо больше, чем в других областях, порядочных людей. Конечно, и здесь — читайте книгу Симона Шноля «Герои и злодеи русской науки» — есть свои праведники и свои злодеи (один Лысенко чего стоит!). Но по природе своей — как поиск истины — сама наука предполагает высокую нравственную планку, делает человека более бескорыстным, готовым жизнь положить на поиск, положительный исход которого ему никто не гарантирует, ибо сам человек — мечтатель, он увлечен своим делом. Заплатите ему меньше, он все равно будет им заниматься. Конечно, до определенных пределов.

— А потом уедет из страны.

— Да, уедет. Но как раз для того, чтобы заниматься своим делом, а не идти торговать. Обеспечьте его всем необходимым на родине — так и не уедет! Все-таки в научном сообществе, вне зависимости от академических карьер, чинов и наград, люди хорошо знают цену друг другу именно по гамбургскому счету. И даже тот, кто получает эти знаки отличия без достаточного основания, кожей чувствует: он на самом деле ничто, пустое место в науке.

А самое главное — ученый живет впереди нас. В его распоряжении наш завтрашний день. Он в нем уже работает. И когда приезжает вечером домой из своей лаборатории, он при этом возвращается из завтра в сегодня, во вчера даже, а может быть, и в позавчера. Но он-то знает, что прокладывает путь туда, в завтра, нам всем. Поэтому наука во многом очищает, облагораживает человека, делает его терпимым, толерантным, милосердным к людям и к миру.

Вместо эпилога

— Ваше любимое полотно в Эрмитаже? В Русском музее?

— В Русском музее репинский портрет композитора Глазунова. А в Эрмитаже, конечно, «Возвращение блудного сына».

Подумалось: может быть, в этом простом ответе и есть ключ к его творчеству, к его жизни? Вечный поиск нашего возвращения к самим себе от жадного, ненасытного господства модуса обладания — нет, не просто к оголенному модусу бытия, но к мудрому, дальновидному согласию этих двух извечных начал нашей жизни. Или, если словами самого Гранина: «Для Рембрандта библейская притча — непростая возможность дойти до божественной души человека».

Диалог вел Ким Смирнов

2010

* * *

Губернатор В. И. Матвиенко на совещании в ответ на мое выступление, где я упрекал правительство города за отсутствие идеологии, за то, что оно живет, «под собою не чуя страны», сказала: «Недавно в Уфе на Совете Союза я говорила, что вот у нас Гранин всегда был в оппозиции, выступал против политики властей, сейчас он молчит, потому что нет у нас ни идеологии, ни политики».

Март 2011

* * *

Во времена советской власти нашей бедой было качество. Товаров, машин, одежды и т. п. Низкое, вне конкуренции. Гнались за количеством. Перевыполняли план. Все попытки поднять качество ни к чему не приводили. Ибо качество — дитя конкуренции. А ее не хватало.

Ныне, когда мы вышли на рыночные отношения, оказалось, что проблема качества и на новом высшем уровне существует. Это проблема качества жизни. Мы потребляем жизнь низкого качества и производим жизнь низкого качества. Тоже — больше, быстрее, выше, и тому подобные показатели захватили все поле потребления. Летать самолетами быстрее, поезд — скорость все больше, экран телевизора тоже все больше, память компьютера, быстродействие — все больше, больше. Полет из Москвы до Владивостока — 12 часов, нет, уже 10, уже 9… И что? Путешествие стало только поездкой, лишились пейзажа,

мелькание пространства, расписание, а ведь было событие.

Мобильник с его эсэмэсками лишил письмо ранга события, получаешь мгновенно, без марок, конвертов, дистиллированный текст. Да — быстрее, да — надежнее, но будничней, поездка в Москву событие заурядное. Удобно, и в то же время жизнь беднеет. Прогресс экономит и время и эмоции. Меньше красок, меньше чувств и переживаний, меньше чести, меньше гнева, доброты, меньше поэзии. Ценится доход. Он определяет качество жизни. Безопасность — это толщина железной двери. Практичность не значит прогресс. Ум трудится больше, а душа? Пожалуй, все меньше.

Прогресс разрушает природу, и мы с этим примирились, мы все время заключаем с ней сделки. Больше удобств за счет экологии.

* * *

Австрийский городок Райдинг, где 800 жителей, празднует 200-летие Ференца Листа в своем концертном зале на 600 человек, а в деревушке Хоейхаус, 500 жителей, соорудили оперный зал на 800 человек. И все это не пустует.

* * *

На производство ВВП, эквивалентного 1000 долларам США в ценах 2000 года, Япония расходует энергии в 16,6 раза меньше России.

* * *

XVII век, эпитафия:

«1741, отец наш тайный советник Плещеев, жития его было 50 лет 5 месяцев и 28 дней».

Точный срок указывали пребывания на Земле, ценился каждый день Божий.

* * *

Улыбка грудного младенца, она образец чистой радости появления на свет Божий, по крайней мере так воспринимается —

бескорыстная приветливость.

* * *

Трудно стать великим, если не иметь великого противника. Тому пример два великих вампира — Гитлер и Сталин.

* * *

Молодая русская аристократия, высшее дворянство, за малое время создала неплохой генофонд русского народа. В этом участвовали и бояре со своими правилами жизни, и военные, и служивые люди, позже к ним присоединилась разночинная интеллигенция. Взаимопроникновение сословий шло энергично, и стал возникать слой отборных людей, а уж к моменту Октябрьской революции слой этот заметно увеличился. Судить об этом можно по многотысячной русской эмиграции, она уезжала из России пароход за пароходом, из Петербурга, из Одессы. Русские люди появились и в Азии, и в Африке, не говоря об Европе и Америке. Они не растворялись, неохотно ассимилировались, сохраняли свой язык, традиции и одновременно утверждали русскую культуру. Так появились школы на Востоке русского балета, русского театра, преподавали в университетах. Дмитрий Лихачев говорил: «Интеллигентность не только в знаниях, а в способностях к пониманию другого», такое понимание того, что может дать русский талант. Русская культура проявлена была даже в таких странах, как Германия, Соединенные Штаты, Франция — там, где, казалось бы, национальная культура была достаточно богатой.

* * *

Украинская ПВО сбила пассажирский самолет. Как такое могло быть? Журналисты принялись расспрашивать президента Кучму. С досадой и недоумением он сказал: «Не надо делать из этого трагедию».

Далее стал объяснять, что бывают ошибки и похуже. Дескать, ракета по-украински не понимает. Засмеялся, считая, что удачно отшутился.

68 человек погибли! Он несет ответственность как главнокомандующий. Но для него — всего 68, не велика потеря,

тем более что большинство иностранцы.

Когда погибла подводная лодка «Курск» (2000) и журналисты обратились к Путину: «Что с ней произошло?» Он ответил: «Она утонула». И все. А было там 118 человек экипажа. Та же самая «ошибочка вышла». Президенты лаконичны.

* * *

Человеческая испорченность в XX веке воплотилась в показательном виде у Сталина и у Гитлера. Примечательно, что одновременно оба они, придя к власти, устремились к мировому господству. Схватка их привела к мировой войне. Погибли в ней десятки миллионов людей. За что? Были уроки Чингисхана, Александра Македонского, Тамерлана, Юлия Цезаря. История этих завоевателей ничему не научила.

Гитлер утверждал преимущество арийцев над другими народами и навеки опозорил Германию, Сталин добивался всемирного торжества коммунизма, он разорил Россию, уничтожил цвет народа, подорвал его жизненные силы и изуродовал мечту о коммунизме.

* * *

Как причудливо совпадают, перекрещиваются жизни гениев, оказывается, жизни злодеев так же. Как одновременно во всем мире наступает пауза. Например, сейчас нигде никого, к кому прислушивался бы мир.

* * *

В КПСС — Коммунистической партии Советского Союза, чудовищно огромной, больше двадцати миллионов, на самом деле с годами появилось отличие — коммунисты и члены партии. Последних становилось все больше, в партию вступали для карьеры, для преимуществ — получить квартиру, поехать за границу, всякого рода льготы. Были и коммунисты, те, что верили в создание власти справедливого свободного общества.

* * *

Я принес на помойку мусор. У контейнера стояли два мешка. Возле них валялись книги. Я заглянул в мешки. Они были набиты книгами. Новенькими и старыми. Там было собрание сочинений Гладкова. В синих переплетах — Новиков-Прибои. Страницы слиплись. Попробовал листать. Видно было, что книгу никогда не

читали. Так они простояли десятки лет. Кажется, этот писатель писал что-то морское. У Гладкова я читал роман «Цемент». Наверно, про строителей. Или завод? Когда-то известный автор.

Мужик из соседнего дома швырнул свой мусор в зеленую пасть контейнера.

— Книги стали выбрасывать. Новенькие, — сказал он.

Мы разговорились. Он тоже потихоньку избавлялся от книг. Зачем они? У него есть интернет, вполне заменяет, даже словари. Букинисты старье не покупают. Да и где они, букинисты, в нашем районе? Я не мог ему подсказать. Действительно, букинистов не стало. Личные библиотеки исчезают. Какой смысл приобретать, собирать редкости, если редкость перестала быть редкостью. Любую редкость можно скачать за несколько минут. В цвете, с картинками. Любое собрание сочинений умещается в крохотном чипе. У меня три полки занимает энциклопедия Брокгауза и Ефрона, 80 томов. Интернет ее обесценил. Не надо больше ставить лестницу, лезть к полкам, искать том, искать там слово, отщелкал несколько кнопок — и через три секунды экран моего компьютера заполнен.

Книги тихо покидают нашу жизнь. Освобождают книжные шкафы. В квартирах, в библиотеках. А Министерство культуры вообще обрадовалось. Министерство, очевидно, вполне устраивает блестящая идея — стоит постепенно закрывать библиотеки в поселках, малых городах. Сразу как гора с плеч, сколько жалоб на низкие зарплаты, на бедность, на скудное пополнение новой литературой. Уговорили. И началось избавление. Пошло успешно, никакое другое решение так гладко не выполнялось. Культура в России была подвижницей только при царе.

* * *

Будем делать все, чтобы целки были сыты, а волки целы.

* * *

Чтобы писать на заборе, хороший почерк не нужен.

* * *

Не все, что написано на заборе, находится за забором.

* * *

Как сказал мне Володя Смирнов про одного олигарха: «Гроб карманов не имеет».

* * *

Самое летучее у нас министерство — это Министерство культуры. Все время там сменяются министры. Сколько их было — не вспомнить. Разве что Фурцеву. Интересно, почему она помнится? Ответа у меня нет. Но знаю про один эпизод, который кое-что проясняет. Фурцева как-то поехала на ВАЗ и заказала партию автобусов. Для артистов. Заявила: «Хватит им трястись в грузовиках». Речь шла о гастрольных поездках в регионы. Автобусы обеспечили нормальные человеческие условия для театральных коллективов.

Она понимала, что культурой нужно не руководить, культуре надо помогать. Заботиться о ней, а не указывать.

* * *

«Дорогой Даниил Александрович, вот Вам одна миниатюра:

Врачебное заключение

Поликлиника. Пришли с сыном оформлять медкарту для детского сада.

В числе прочих числится врач-психоневролог. Заходим в кабинет.

Здороваемся, отдаем доктору направление. Тот начинает было задавать ребенку какие-то вопросы.

Резко, без стука открывается входная дверь. Заваливается уборщица (а-ля Баба-Яга) с ведром и шваброй и заявляет доктору, типа „щас я тут у вас уберу“. Врач тихо возмущен, но вежливо говорит: „Нина Сергеевна, а почему сейчас, а не после работы? Тут же я сижу, и люди вот пришли“. Та с ходу отвечает: „А мне сегодня раньше надо уйти!“ И начинает елозить шваброй по полу.

У доктора выражение лица, конечно, недовольно-возмущенное, но — интеллигент, к тому же психоневролог, сдерживается. Работница швабры и ведра резво оттесняет своим инструментом от стола и в 3 секунды делает имитацию протирки

чистого пола грязной тряпкой. Далее подъезжает шваброй к ногам сына, недовольно заявляет ребенку: „А ты, мальчик, чего тут стоишь, не видишь, подвинуться надо побыстрее, я ж сказала, что убираю тут!“

Сын поднимает на нее свои наивные детские глазки и, не задумываясь ни на секунду, громким, звонким голосом выдает: „Пошла в жопу!“

„Баба-Яга“ замирает камнем от такого поворота дел. Резко краснеет, хватает свои инструменты и пулей покидает недоубраный кабинет.

Доктор, ни слова не говоря, берет направление и пишет: „Психически здоров“».

Это прислал мне мой друг, биолог Михаил Голубовский.

* * *

Сбили немецкий самолет. Все соседние части стали присваивать себе эту заслугу. Сбили винтовками, что, конечно, было чудо. Летчик успел прыгнуть на парашюте. Найти его не могли. Через два дня наш патруль задержал какого-то русского. Подозрительным показался его здоровый румянец и акцент. Привели в батальон. Ротный стал допрашивать. Оказалось, это летчик с того самого сбитого самолета. Откуда он знает русский? Под Липецком была школа немецких летчиков. Перед войной их тренировали на немецких самолетах, сделанных на заводе Фолкера в Голландии. Истребители и пикирующие бомбардировщики.

Рассказывал он охотно, все данные выложил, пока ротный не спросил: «Тебя разве учили бомбить русских?» — «Мы сбрасывали бомбы на учебные цели над Доном, у нас был армейский полигон под Воронежем».

— Сколько вас там было?

— Не могу говорить, я давал подписку.

— Твоя подписка тю-тю.

— Почему тю-тю?

— А ты прыгнул в расположение русских войск, так что ты предатель.

— Нет, — твердо сказал немец, — я имею право спрыгнуть.

— Видали, подписку он давал. Соблюдает правила, сука.

Действительно, они всегда чего-то соблюдали.

* * *

16 октября 1941 года черный день для Москвы. Немцы подошли вплотную к городу. Поднялась паника. Правительство эвакуировалось в Куйбышев. Оставался Сталин в Москве — неизвестно. По-моему, Косыгин, рассказывая мне про этот день, тоже не знал. По улицам громыхали грузовики, груженные скарбом. В булочных отоваривали карточки вперед за целый октябрь. На работе выдавали деньги вперед. Повсюду жгли бумаги, повсюду летела копоть, пепел. На помойках валялись портреты Ленина. Открыли склад с валенками. Раздавали. По шоссе Энтузиастов длинные вереницы машин, легковых, набитых чемоданами, коврами. Говорили вслух, не стесняясь: «Капитаны первыми покидают». Магазинщики тащили окорока, связки колбас.

* * *

Жизнь моя разделилась на две части — советская и постсоветская. В первой больше мечтаний и надежд, во второй больше разочарований. Следующий этап узнать не успею. Мой отец тоже не дожил до кончины советской власти. Он уверен был, что она навсегда. Интересно, конечно, знать, не развалится ли Россия? Устоит ли эта последняя империя?

А что изменится в вашей жизни, если вам сообщат ее смысл? Будете так же утром есть овсянку, так же искать себе туфли для поврежденной ноги. Так же завидовать брату. Что прикажете делать с этим смыслом? Начинку для пирога?

* * *

Приехали в Ватикан. Принял нас кардинал, тот, что ведает иностранными делами. Чиновник любезен. Холодноват. Тот же чиновный душок, что у нас в мэрии. Улыбчив. Черный костюм, металлический крест. Вдруг заинтересовался нашей благотворительной службой, особенно моей. Подарил четки. Пошли пить кофе в спецкомнату. Молодой священник все записывал. Кардинал долго извинялся, что папа нас не может принять. Я воспользовался этим и попросил показать сады Ватикана. Повез. Сам за рулем машины. Скромной машины. Похвастал, что единственный из кардиналов водит машину. А их 25 кардиналов!

Швейцарцы отдавали нам честь.

Внутри Ватикан оказался большим. Роскошные сады, таких

нигде я не видел. Зеленые лабиринты кустов. Площадь для вертолета папы. Его апартаменты. Висят фото, каждого, кто встречался с папой. Встреча продолжается не больше пяти минут.

Вышли на балкон над площадью. Отсюда папа благословляет верующих. Это та самая, перед собором Святого Петра, какую показывают по телевидению.

* * *

«Берлингтон Мэгазин» — известный старый журнал по искусствознанию. С великими трудами мой знакомый историк разыскал его в Библиотеке Академии художеств. Как ему объяснили, никто больше в России этот журнал не выписывал. В Академии художеств комплекты журнала, к счастью, сохранились. Судя по картотеке, дореволюционные номера аккуратно прибывали, библиотека постоянно возобновляла подписку и получала этот журнал. Первый перерыв произошел в период с 1918 по 1920 год, затем номера поступали неаккуратно. Это происходило вплоть до 1930 года. Дальше академия опять получала регулярно номер за номером, все было на месте, ничего не пропало. В 1989 году — номеров нет, и дальше — нет. Получение прекратилось. Почему? Библиотекари разъяснили: подписку не возобновили. Денег больше не давали. То есть валюты. И до сих пор журнал не выписывают. Простенькая эта история уместилась на одной карточке. Первая мировая война, Революция, Гражданская война, пятилетки, Великая Отечественная и наша перестройка. История не только событий, но и история нынешнего отношения к культуре.

* * *

Непонимание между генералами и Гитлером росло. Безнадежность войны с Россией первыми поняли фронтовые генералы. Они хотели кончить войну, взяв Сталинград. Тогда капитулирует и Ленинград, и Москва. Гитлер считал, взяв Сталинград, он повернет на север, взять Москву и Ленинград. Вот тогда русские капитулируют.

К лету 1942 года наши войска потерпели крупные поражения. Одно в Крыму, второе — сдалась в плен армия Власова, и наиболее тяжелой стала неудача под Харьковом, где мы потеряли 240 тысяч пленными и около 1000 танков.

Гитлер заявил Генштабу: «С Россией покончено!» Осталось

взять Сталинград.

Одновременно начинается операция «Окончательное решение» по тотальному уничтожению евреев. Всё немедленно, всё и там и тут. Уничтожение евреев ставится промышленным способом, отвлекаются для этого военные ресурсы. Неважно. Азарт войны совмещается с азартом создания арийской империи. Европейской, а может, и всемирной. Попутно Гитлер вникает в архитектурные проекты — как превратить Берлин в столицу мировую.

Геббельс пишет в дневнике, как генералитет конфликтует с фюрером, «создает фюреру одну трудность за другой». Например, «Майнштейн… намеревался сместить фюрера с поста Верховного главнокомандующего».

Начиная с августа 1941 года расхождения у Гитлера с Генштабом растут, появляются и недовольства фронтовых генералов политикой Генштаба в лице его начальника Гальдера. Неразбериха с каждым месяцем усиливается. Пока шла война в Европе, военная машина действовала слаженно, а вот в России почему-то заскрежетала, стала ломаться. Вот тут-то, может, он и появляется, «русский бог»…

* * *

Мы смотрим на время горизонтально, а Бог видит его вертикально.

Мартин Лютер

* * *

Понимал ли кто-либо в Генштабе, кто-нибудь из гитлеровского окружения, что планы кампании невозможно исправить, что война, затеянная Германией, проиграна, выигранные сражения не помогут.

Возникала ли у нас мысль о капитуляции? Пожалуй, нет. Память, конечно, поблекла, ее захламили бесчисленные фильмы, книги, журналисты, послевоенные оптимисты.

И мы уже не знали, как мы выиграем, как справится «русский бог» с нашими поражениями.

Хорошо было Пушкину понимать, спустя 20 лет, откуда взялась победа, а нам, грешным, сегодня надо было откуда-то добывать.

* * *

Германия была обклеена плакатами: «Der Sieg wird unser sein!». Это наше «Победа будет за нами!».

Левашовское кладбище

В 1937 году стали возить сюда расстрелянных «врагов народа». Возили по 1953 год. Всего доставлено было около 45 тысяч трупов. Война кончилась, а расстрелы не утихали. Везли и везли.

Сделать Левашово мемориалом даже после XX съезда духу не хватало. Только в 1989 году вышло постановление ЦК КПСС.

Боялись. Мы уже не боялись, а ОНИ боялись. Они всегда боятся больше нас.

* * *

В СССР восстаний против Москвы не было, а вот в соцстранах восставали, и в ГДР, и в Венгрии, и в Польше, и в Чехословакии.

Радужные настроения рухнули. Москву ненавидели, это началось вскоре уже после Победы, разгрома фашизма.

* * *

Г. Державин навестил умирающего Суворова в доме графа Хвостова. Суворов спросил поэта, какую эпитафию он бы сделал на его могиле. Державин предложил краткую: «Здесь лежит Суворов».

— Помилуй Бог, как хорошо! — с радостью сказал Суворов.

Редкий пример, когда свою эпитафию умирающий узнал, одобрил, и ее воплотили. Знать, что напишут на твоей могиле, это не так мало.

* * *

Опыт был у меня, у нее никакого. Да и мой опыт был робкий. Господи, как они нас выпускали в жизнь. Родители, школа… Запрещали знать, прятали от нас книги, «тебе еще рано», а теперь уже поздно. Получить высшее образование и быть полной

невеждой в самом важном — в любви.

С каким страхом соприкасались друг с другом в эти первые ночи. Чудом находили дорогу, чудом было и счастье познания. Так говорится в Библии — «он познал ее». Точное понятие — не просто «обладать», мы — познавали.

Ловушка

Страсть показать себя, свой архитектурный талант заставляла Шпеера отбросить все сомнения. Знал ли он, кто такой Гитлер? Может, и знал, наверняка представлял, но ничто не могло отвратить его от этой дьявольской сделки. Талант, его талант, шел на все, чтобы осуществить себя. У бездари подобного нет, ей не понять эту страсть. Шпеера все больше восхищает сила воли Гитлера, умение убеждать, его память, все качества, как он считает, великого человека. Он не может скрыть своего преклонения. Нравственные качества его не занимают, он признается, что видел в нем «героя античных преданий», который всегда побеждает. Он хочет в своих проектах превзойти Рим, Париж, и Гитлер его в этом поддерживает. Они оба теряют чувство меры.

Творец не тот, кто занимается творчеством, а тот, кто не может не заниматься творчеством.

Архитектура сблизила Гитлера, неудачного архитектора, с молодым Шпеером. Шпеер быстро выделился своим дарованием и стал все более нравиться фюреру. В 1942 году его поставили на место погибшего министра вооружения. Спустя двадцать лет, сидя в тюрьме, Шпеер утверждает, что он старался гуманизировать гитлеровскую империю, оправдать правительство посредственностей своим талантом. Чем дальше, тем труднее ему доказывать, что можно оставаться порядочным человеком среди палачей, изуверов и маньяков.

Гитлеровский режим приступает к «окончательному решению» — тотальному уничтожению евреев. Проблемы зла и добра решаются уже через миллионы жертв. Шпеер вынужден соучаствовать. Он министр вооружения, он выполняет заказы по изготовлению газовых камер для уничтожения евреев. Шпееру не хватает мужества рассказать о своей вине.

Система самооправдания у Шпеера это — он патриот, труженик, защитник немецкого народа, совестливый гражданин и прежде всего архитектор. Его поставили обеспечивать армию патронами и снарядами. Ничего не поделаешь, не оставлять же их

безоружными.

Все руководство Рейха за шесть-восемь лет стало коррумпированным: они воздвигают себе охотничьи замки, имеют десятки слуг, роскошь картин, сервизов. Идет война, а количество обслуги у правителей растет. Гитлер нуждался в поддержке министров, чиновников, он закрывал глаза на то, что Геринг был хапугой, спекулянтом, что Геббельс распутничал, а Лей был пьяницей. В свою очередь, Геринг закрывал глаза на коррупцию в своем окружении.

Интересно, что в воспоминаниях Шпеера не присутствуют ни жена, ни его дети, их почти нет, главный герой у него — Гитлер.

Находясь в заключении в берлинской тюрьме «Шпандау» в течение 20 лет (его тюремный срок), Шпеер в своих мемуарах как бы изучает Гитлера, его натуру, его характер, пытается понять, как можно постоянно считать себя великим, восхищаться каждым своим поступком.

Шпеер оправдывал Гитлера за его любовь к архитектуре.

«Вас что больше интересует — Гитлер или Шпеер?» — спросила меня Магда.

Я задумался. Гитлера я, пожалуй, представляю, во всяком случае передо мной были образы некоторых наших правителей, а вот Шпеер… Зачем он стал министром вооружения, зачем ему нужна была власть? Что, он хотел доказать, что и это он может? Я не домысливал, я задавал себе вопросы. У человека должны быть безответные вопросы, которые не дают ему покоя.

Магда не понимала, как я могу видеть что-то хорошее в Гитлере, а особенно в Сталине, она презирала и ненавидела обоих. Она считала, что каждый из нас перед Богом наг, и в этой наготе вполне можно сравнивать двух фюреров. Но ей мешало то, что ей тоже нравились проекты Шпеера, его архитектура, его работы, его самостоятельный новый стиль. Она шла на компромисс — Гитлер сотворил добро, дав Шпееру осуществить себя.

История Шпеера — это история молодого архитектора, мечтавшего создать что-то великое, чуть ли не столицу мира, и вынужденного создавать оружие для фашистов и помогать Гитлеру вплоть до газовых камер.

Был ли его шаг ложным? Было ли ощущение измены своим мечтам? Он убеждал себя, что, наоборот, он прославил немецкую архитектуру. Ему постепенно удалось убедить себя. Даже после Нюрнбергского процесса, сидя в тюрьме, год за годом, видя, что он остается в Истории как преступник и соратник Гитлера, он

утешал себя — он построил, сделал проекты, сделал рейхсканцелярию, он останется надолго. Где она, его ошибка? Бог указал бы, но Бога не было для него. Нюрнбергский процесс это ему не Бог, это всего лишь людской суд, суд победителей, суд мстителей. Девять месяцев продолжался Нюрнбергский суд. Добился ли он чего-то в глазах Шпеера? Да, он заставил иначе увидеть Третий рейх, увидеть, что замысел Гитлера — абсурд, но сокровенное чувство дружбы и почтения к Гитлеру — все это сохранялось. Двадцать лет он просидел, написал два больших тома мемуаров, где ни разу не пытался даже дотянуться до Бога рукой.

Я был в Берлине на выставке его архитектурных работ. «Все же это грандиозно», — повторяла мне Магда. Мы ходили между проектами, фотографиями построенных зданий. Все воинственно-строгие, заготовленные для столицы мира. Народу было много. Восхищались, осуждали, грустили.

* * *

Сегодня трудно понять, почему нам помогало, что мы не знали правил войны (например, когда положено отступать) и не знали в 1941 году, что война немцами начисто проиграна.

* * *

Я был в игре. Теперь я вне игры.

Б. Слуцкий

Я много выиграл, но больше проиграл.
А все, что выиграл, ничтожно или стыдно.

(Автора не помню)

* * *

Режи Дебре: «Человек единственное животное, знающее что-то о своем дедушке».

«Что в человеке меняется, что неизменно, что можно изменить?»

* * *

Каждый человек по-своему осознает совесть, по-своему распоряжается ею.

* * *

Жизнь — источник радости… Если ты однажды поймешь, что приглашен на этот удивительный праздник жизни, то вдруг откроешь, что простейшие вещи и являются самыми нужными — трава, музыка, собака, книги.

* * *

Дети должны рождаться от любви, прежде всего любовью. Дети должны вырастать любовью. Дети воспитываются любовью.

Блокада

«Мой утренний туалет, — пишет мне работница завода № 212, — я в пальто, выхожу на улицу, достаю тряпку, мою снегом руки, вытираю. Кашу в заводской столовой разбавляю кипятком, в закрытом цеху мы, бабы, справляем нужду». (1941 год)

* * *

В конце 1941 года художник Билибин пришел умирать в Академию художеств, туда, где начиналась его творческая жизнь.

* * *

Из письма Чикиной Александры Михайловны:

«…На память все больше приходят те моменты, которые помогли кого-то спасти, не дали возможности пасть духом, не позволили опуститься… А разве можно забыть первую премию в первую блокадную весну за подачу тока раньше намеченного, ее вручал управляющий Ленэнерго Борис Петрович Страупе. Она была продуктами!!»

* * *

К осени 1941 года стараниями Генштаба удается склонить Гитлера признать Ленинград второстепенным фронтом. Однако в марте 1942 года Геббельс в своем дневнике пишет, что фюрер снова ставит целью Ленинград, главное для него: «Кавказ, Москва и Ленинград». Спустя неделю Гитлер спускает директиву № 41 — окончательно блокировать Ленинград со стороны теперешней Финляндии и овладеть Восточной Карелией. Это апрель 1942 года.

Неудачи в войне с Россией вызвали кризис доверия к Гитлеру. Генералы не стесняются выражать свое недовольство, но и Гитлера возмущает невежество, бездарность его генералитета.

Геббельс пишет: «Оценка фюрером моральных качеств генералитета — уничтожающая. Он априори не верит ни одному генералу».

Ничего себе. Как можно воевать в такой обстановке. Все же генералы нужны. Я, правда, за всю войну видел один раз одного генерала, и то с меня хватило, но, думаю, для чего-то их все же производят. А еще у немцев были фельдмаршалы. Там вообще позволяли себе. Манштейн хотел отстранить Гитлера, снять главнокомандующего.

Мне, рядовому сталинской Красной армии, такое представить невозможно.

Теркин

Смотрел спектакль в Театре комедии, сделанный Петром Фоменко, «Теркин на том свете». Замечательная эта поэма Твардовского. С момента появления ее и по сей день не нравилась она начальству не только сатирой своей на мертвечину нашей советской жизни, но и тем, чего они сформулировать не могут, а чуют: атеизмом. Атеизм вещь опасная не для религии, а для государства, построенного на вере, например в социализм, в коммунизм. Через тот свет Твардовскому по-новому удалось высмеять наш идиотизм, все давно омертвевшие формулы, которыми мы пользуемся десятки лет. Ни война, ни послевоенное, ни крушение культа — ничего не изменило в этих кумачевых призывах. По-прежнему жует мочало «пламенный оратор». Отдел кадров копается в автобио, проясняет про деда и бабку, та же борьба со штатами, их все сокращают, а они все увеличиваются.

1980

Однажды физик Евгений Львович Файнберг рассказал мне про любопытные опыты над мышами. Был построен домик со многими комнатами. В каждой что-то положили — сало, сыр, питье, орехи, а в одной комнате деревянные фигурки раскрашенные по-разному. Впустили в дом сто мышей. Они разбежались, кто куда. Примерно десять процентов из них заинтересовались комнатой с фигурками. Стали их катать, царапать, кусать — словом, как-то изучать. Эти десять процентов отделили и стали проверять их на иммунность, на здоровье. Оказалось, что по физическим данным они выше остальных мышей. Академик Симонов полагал, что это связано с мозгом. Известно, что мозг человека обладает большими неиспользованными ресурсами. Небольшой процент человек применяет в обыденной жизни. Чем больше этот процент, тем больше вовлекается в действие организм человека. Мыши-исследователи меньше болеют, живут дольше. Можно ли отсюда делать вывод, что природа поощряет творчество? Вероятно, так и есть.

Недаром Господь прежде всего Творец. Божественное в человеке — творческое начало. Большинство людей на самом деле творцы, мать творит из ребенка Человека, обучает его языку, учит ходить, есть, умываться… Наша цивилизация — результат работы бесчисленных творцов. Они придумали колеса, нож, аспирин, носовой платок. Все вокруг нас кто-то когда-то создал. И создает до сих пор. Миллионы изобретателей. Безвестные эдисоны, Менделеевы продолжали работу Первого Творца.

Уловка

Когда первая советская атомная бомба была готова, к ее испытанию подготовили всю аппаратуру, наблюдательные пункты, назначили срок, и тут Курчатов вдруг заявил, что нужна вышка, откуда можно сверху фотографировать взрыв и все последствия. Вышка высотой метров сто! Его сотрудники не понимали — зачем, что это даст, достаточно наземных наблюдений. Нет, Курчатов настаивал категорически — следует выстроить башню. Никто не понимал физического смысла такого сооружения. Зельдович, Флеров, Харитон пытались переубедить шефа, что эта задержка ни к чему не приведет. Он стоял на своем. Постройка откладывала испытание на несколько недель, даже Берия не мог остановить Курчатова, не было у него аргументов. Курчатов подавлял все возражения неясными соображениями, больше ссылаясь на свое чутье.

Так бывало и раньше, в процессе работы. Ему приносят полученные данные, он смотрит, смотрит: «Нет, неправильно, здесь на кривой должен быть пик. Ничего не знаю, добейтесь вот такого пика. — И поправляет кривую. — Вот что мне нужно». Приходилось добиваться, форсировать, поправлять. В крайних случаях он вынимал из своего шкафа готовую кривую, как образец. Откуда она появлялась, неизвестно. И тут с этой вышкой такое же немотивированное упорство.

Стали ее строить. Наконец построили, поставили туда какую-то аппаратуру. Испытание прошло удачно, бомба получилась, то есть взорвалась с нужным эффектом. Атомщиков поздравляли, благодарили, награждали — был праздник.

Позже, не знаю когда, может, спустя год выяснилось: Курчатов тянул время, ему надо было успеть сделать второй экземпляр бомбы, дубликат. Он понимал, что с одной бомбой они рискуют, рискуют смертельно, весь коллектив, если что не так, им не простят, Берия, который курировал бомбу, не простит, Сталин не простит, и на них отыграются по полной. Имея вторую бомбу, они ее уже доводили, они смогут сразу повторить испытание, что-то подправить, риск уменьшается вдвое.

А еще позже его ближайшие сотрудники выяснили, что в этом шкафу, из которого он извлекал должные материалы, кривые, графики — все это были материалы, полученные от органов, их добыча в Лос-Аламасе с помощью того же Фукса и других.

* * *

Мы поняли не за что мы воюем, а с кем мы воюем.

* * *

Среди лжи, грабежей, убийств каким-то образом вырастают чудные, честные подростки. Откуда в них такой стойкий иммунитет? Природе нужны хорошие люди. Может, не природе, а человечеству. Человеку как виду, чтобы он не погиб. Так зайцу нужна быстрота, медведю спячка, ежу — иголки. Если не будет порядочных, честных, благородных, что произойдет? Исчезнут сдерживающие начала, останется только зло.

* * *

Наша Церковь, она при власти. Губернаторы следуют примеру президента и премьера, приезжают в церковь на праздники, встают со свечой за спиной священника, составляя как бы президиум. Подсвечники. Это позволяется только в православных храмах.

* * *

«Евреям всё дается большим трудом. Но всё!»

* * *

В туристской группе: он, не скрывая своего восхищения, пялился на нее. И не делал никаких попыток подойти, заговорить. Она не вытерпела. Клюнула. Спросила, чего он не решается. Он признался:

— Нет шансов. Никаких. Безнадежно пытаться. Слишком вы хороши. Волосы, фигура, манеры — куда мне.

И после этого у них пошло, покатилось.

* * *

В отставке В. И. Матвиенко роковую роль сыграли сосули. Одна зима вызвала ругань, раздражение горожан, но когда и во вторую зиму эти сосули продолжали падать на голову, когда погибло несколько человек, поднялся крик, посыпались письма в Москву. И вопрос был решен.

Про ангела

Выздоровев и придя в себя, помаленьку начал ходить и решил собрать моих врачей, с одной больницы, со второй, поблагодарить их. Не подарками, это они не взяли бы, не потому, что они такие святые, а потому, что они все-таки меня лечили по совести, с каким-то чувством, которое исключает всякую материальную благодарность. Я принял решение, типичное для России, — посидеть, выпить, закусить, потрепаться. Не дома, а в ресторане, не просто в ресторане, а пошикарнее. Пригласил главных врачей и просто врачей, не главных, но очень существенных при моей болезни, а еще для украшения — моих

друзей. Набралось человек двенадцать. Все прошло как нельзя лучше, под конец вечера разбились по своим интересам, и группа врачей занялась своими профессиональными разговорами. Среди них присутствовал мой приятель, профессор-литературовед. Назавтра он мне рассказал кое-что из того, что он слышал в разговоре врачей, то, что его поразило. Это он решил мне изложить без всяких комментариев. Разговор у них шел про мою болезнь, она тогда казалась им несовместимой с жизнью, есть у них такое страшноватое понятие, тем более что я сам отключился и в том состоянии не мог помогать им бороться за свою жизнь. Для них было удивительно, как я выжил, это было удивление специалистов. Через их руки прошли за десятилетия работы сотни печальных исходов, а то и больше. Они кое-что знали из моей биографии, знали, что я воевал, что провел всю войну на фронте, на переднем крае. Я сам считал чудом, что я уцелел. После войны, работая в Питере, я чудом выпутался из «Ленинградского дела» — это так называемое «дело», в сталинское время кончившееся для многих расстрелом, а для других лагерной ссылкой. Меня оно миновало. Как? Почему? Тоже было удивительно. И мне было удивительно, и для всех, кто знал об этом. Были еще случаи счастливого избавления от опасных передряг и сталинского, да и последующих режимов.

И тут главный врач одной из моих больниц вдруг сказал совершенно серьезно, как будто ставил диагноз: «Я могу это объяснить только одним — у него есть ангел-хранитель». Как ни странно, ему никто не возражал, все замолчали, моему приятелю показалось, что эти слова были приняты всерьез. Услышать такое от врачей было, по меньшей мере, странно, вот эту странность он мне преподнес, ожидая, что я буду с ней делать. А что я мог с ней делать? Где-то в недрах своей души я давно подозревал вмешательство, то ли опеку, то ли интерес, а может быть, и какое-то назначение, которое я получил для своей жизни. Я не хотел вникать в эту планиду, не старался понять, что бы это могло быть, но перестал считать это рядом счастливых совпадений. Хотелось думать, что это не случайности, а вмешательство. Кого именно, для чего? На войне мне виделось это вмешательством любви. Мольба Риммы. Но шли годы, и случайности уже не убеждали, похоже, существовало что-то понадежней. А почему бы нет? Стоит ли противиться? Что мы знаем о том, что мы не знаем? Какие силы существуют в этом мире, неведомые нам, ведь неизвестного больше, чем известного. Стоит ли противиться и сомневаться в их заботе. Может быть, лучше поблагодарить?

В детском саду

Сидит девочка, что-то сосредоточенно рисует. Подходит воспитательница:

— Ты что рисуешь?

— Я? Бога, — уверенно отвечает она.

— Так его никто не видел.

— Теперь увидят.

* * *

«У всех романы, любовь, ревность, а у меня никак нет любви, хоть тресни. Болезнь, что ли? Влюбись, мне говорят. А как? Если только заговорю, чуть-чуть потрогаю, и она сама уже загорелась. На все согласна. Никакого процесса не получается. Прямо следует секс и дальше прилипание. Оторвать можно только с кровью. Не затормозить, какой-то я гасильник игры. Полагаются какие-то шуры-муры, тары-бары, фигли-мигли…»

* * *

Нынешняя власть поверхностно образованная. «Брошюрные дети». Обладатели «административных дипломов», «беззащитных степеней». Даже высшее ученое звание «академика» приобретают, имея позорный коэффициент цитируемости, то есть работы, абсолютно бесполезные для науки. Они командуют, они выступают, они на экранах, они в мантиях.

* * *

Его все знают по TV, но в науке никто. Его не цитируют. Если б не TV, никто не знал бы о таком ученом.

* * *

На него производили впечатление не те прогнозы погоды, которые сбывались, а ее непредвиденные капризы, ее выходки. Да и вообще все то, что не подчинялось: непредвиденные грозы, град, наводнения, землетрясения — это происходило, несмотря на все прогнозы погоды, сейсмические станции. Природа была непредсказуема, такой же, какой бывает человек. И то, что она не позволяла себя заранее вычислить, взбрыкивалась, было чем-то

приятным. Ему нравилось, что она живет своей недоступной человеку жизнью, нелогичной, не зависимой от всемогущей науки. Он разделял существование на небо и землю. Небо было источником духовной жизни человечества, к небу человек обращался мысленно, всегда смотрел на него со страхом, с любовью; небо будило воображение. И огонь, и дождь, и град — все это было действием неба, но само оно оставалось недосягаемым и виделось ему как-то не материально, оно взирало сверху на него, оно его всегда видело и все могло — поразить молнией, цунами, и он воспринимал его иногда как чью-то волю. Он не смеялся над астрологией, звезды должны были что-то означать. И что-то определять в судьбе человека. На земле все менялось, небо было вечно, оно было таким же и у его предков, и будет и у его потомков.

* * *

Рано или поздно каждый из нас начинает прислушиваться к своему организму. Я не сразу дошел до этого. Он мне сигналил давно — оденься теплее; отдохни, ты устал; хватит, больше не пей… Отстань, я сам знаю — отмахивался я, и он обиженно смолкал. Иногда я отделывался от его укоров, особенно когда болел. «Ничего особенного, все пройдет, пройдет и это…» Проходило. Но не без потерь. Его советы мешали. С годами они звучать стали все тише, глуше. Я понял, что механизм портится. Или слух мой виноват. Не воспринимаю. Как перестаю слышать уличный шум из окна моего кабинета. Нет, так нельзя, так мы с ним потеряем друг друга. Ничего взамен него у меня нет.

Болезнь еще далеко, а он, организм, уже чувствует. Он мастер своего дела. Природа щедро наделила его способностями.

* * *

6–8 тысяч лет человеческой истории — это сплошь войны. Одна война переходит в другую. Что они дали человечеству? Повторялись из века в век. Чему они научили? Никаких уроков, никаких выводов для истории. Повторялись разрушения, гибель людей, народов. Мирные периоды были всего лишь паузы для того, чтобы совершенствовать оружие, стрелковое, атомное, химическое, биологическое.

* * *

Когда Владимира Яковлевича сделали директором института, он стал называть себя не «крупный ученый», а «укрупненный».

* * *

Студенты несли лозунг «Свободу заблуждениям!».

* * *

Став директором института, он больше вынес, чем внес.

* * *

К дому Антона Осиповича стал приходить какой-то незнакомец. Стоял перед его окном и смотрел. Иногда подолгу, минут двадцать, а по воскресеньям и дольше. Антон Осипович не стерпел, вышел, спросил: «Вам что-то нужно?» — тот покачал головой, повернулся и, не ответив, быстро ушел. Однажды он привел с собой двух мальчиков лет по десять. С ними постоял, и они ушли. Антон Осипович обратился в милицию. Там отказались выяснять, нет оснований, люди имеют право стоять на улице, если будут предпринимать какие-то враждебные действия, тогда другое дело.

Антон Осипович извелся. Занавешивал окна, не помогало. Сам подсматривал. И что вы думаете, довели его до того, что получил инфаркт. Еле выкарабкался. Вернулся из больницы, все кончилось. Так и не понял, что это было, а через год решил, что ничего такого не было, чистое воображение.

* * *

Мы не знаем, живем ли мы накануне расцвета искусства или накануне упадка.

* * *

Нагорная проповедь мешает жить в свое удовольствие — пить, гулять, прелюбодействовать, если надо, то и воровать.

Единственное, что должно сдерживать нас, это религия, страх наказания — где-то, когда-то оно настигнет.

* * *

Мясорубка, радиоприемник стареют медленнее, чем автомобиль… Каждый год появляются новые модели автомобилей, они-то и старят прежние машины, старят каждый год. Женские моды не так быстро меняются, как компьютеры, авто. Автомобиль еще хорош, а выглядит старьем.

* * *

Неважно, что советские пятилетки не выполнялись. Важно, что перед людьми ставили задачу — «Пятилетку в четыре года!», «В три года!». Эта задача управляла людьми, вела их, такие задачи составляют искусство управления.

Советское общество не создало своих идей. Мы пользовались марксистскими идеями. Утопиями прошлого.

Нечто подобное, впрочем, можно отыскать и в прошлом. Так, например, некий помещик написал Николаю Первому жалобу на свою дочь: «Она самовольно вышла замуж, не спросив отца». Царь написал на его жалобу следующую резолюцию: «Брак расторгнуть, урожденную такую-то считать девицей».

* * *

Мне нравится, как определил Иван Елагин работу Льва Толстого:

Зачем приукрашенность Анне,
Наташе к чему ореол?
Толстой их не вывел в романе,
А просто на землю привел.

* * *

Когда-то мы были будущностью для людей XIX века. Они гадали, какими мы станем красивыми, счастливыми. Мой отец представлял, что я стану образованным, крупным ученым, у меня будет большая семья, зимой я буду ходить в шубе, настоящей шубе.

Попытки связаться с будущим ни к чему не приводят, никак

не увидеть наших правнуков, родословная складывается только из прошлого, никак не предугадать, что получится с моими потомками, в каком мире они окажутся. Самое простое — это количественно увеличивать то, что мы имеем: делать хорошие дороги, роскошное жилье, уютные коттеджи, высокие скорости. Конечно, будут решены проблемы долголетия, освоен космос, излечим рак. Для новых поколений мы составляем подробный план достижений, все то, что у нас не получается, намечаем им сроки. Это не прогноз, это панорама желанных успехов, в ней никак не разглядеть, что будет с моими внуками и правнуками. Может быть, они избавятся от наших болезней, им смогут врачи заменить печенку, а то и сердце. Что будет с нашими детьми, как они себя будут чувствовать, будут ли они счастливы, как сложится их любовь — вот что хотелось бы знать, но я могу знать только, что было с моим отцом или дедом.

Одно из моих любимых

Хвала изобретателям, подумавшим о мелких
и смешных приспособлениях:
О щипчиках для сахара, о мундштуках для папирос,

Хвала тому, кто предложил
печати ставить в удостоверениях,
Кто к чайнику приделал крышечку и нос.

Кто соску первую построил из резины,
Кто макароны выдумал и манную крупу,
Кто научил людей болезни изгонять отваром из малины,
Кто изготовил яд, несущий смерть клопу.

Хвала тому, кто первый начал
называть котов и кошек человеческими именами,
Кто дал жукам названия точильщиков,
могильщиков и дровосеков,
Кто ложки чайные украсил буквами и вензелями,
Кто греков разделил на древних и на просто греков…

Автор эти стихов — Николай Олейников.

Слабая власть

Большая бутыль молока. Куплена в обычном питерском магазине. Через два дня мне дали кашу овсянку, сваренную с примесью этого молока. Есть нельзя. Дочь прибавила в кофе молоко и выплюнула, вылила в раковину кофе. Она заподозрила молоко, но я убеждал, что молоко ни при чем, было решение высшего начальства — молоко должно быть натуральным, покончить с порошковым. Попробовали без каши и без кофе, оказалась отвратная химия.

Наши продукты, которыми мы хвалились, стали несъедобны. Хлеб быстро-быстро черствеет. Свежей рыбы не достать. А обещали рыбного изобилия. Колбасы, ветчина — в них мясо лишь в виде запаха.

Контрольную систему порушили. С лекарствами тоже беспризорность.

Что происходит? Власть, как ни странно, сама себя лишает властных функций. Несколько лет она для себя сооружала вертикаль. Ликвидировала выборность губернаторов, мэров. В верхнюю палату не выбирают: рекомендуют и назначают. В нижнюю — нельзя «против всех», будьте любезны по партийным спискам, а допущены всего четыре-пять. Технология выборов достигла такого совершенства, что нет смысла ходить на выборы. А нам и не надо. Активности избирателей — не надо. Обсуждения кандидатур — не надо. Отчетов — не надо.

Что есть вертикаль? Она позволила как можно дальше удалиться от избирателя, так, что оттуда, сверху вертикали, его уже не видно. И нам депутата не видно. Они там, за облаками. По телевидению их заседания не показывают. А зачем? Ну и правильно, они нас видеть не хотят, да и мы их. Я не знаю ни одного своего депутата — ни в Думу, ни в горсовет.

Вертикаль отличное средство. Избавляет от электората, т. е. от избирателя на четыре года. И не появляйся. Общение? Нет никакой необходимости. Покой нарушают катастрофы, теракты. Авария с «Курском». Спрашивают у начальства, что произошло с «Курском», начальство пожимает плечами: «Утонул». Вот вся правда, которой мы удостоились. Остальное — ложь. Почти все катастрофы снабжены ложью. Беслан, шахта «Распадская», взрыв на железной дороге Москва — Петербург, склад боеприпасов в Ульяновске. Лгут местные начальники, потом следующие и самые верхние. Образовалась стойкая привычка врать. Прежде всего надо сообщить — «Положение под контролем».

Горит лес, горит торф, горят деревни. Ничего страшного, принимаем меры. Атомный центр? Все гарантировано. Все схвачено, то есть огонь не посмеет, сто процентов. Подсчет? Ничего, все уже вывезено, так что нет оснований… Наша хваленая

МЧС оказалась не готовой к стихийным бедствиям. Стихия — ничего не попишешь, она наступает без уведомления. Как сказать. Пожары последовали после засухи, а не до. Чрезвычайные ситуации, они, между прочим, стихийные. Министерство для этого и создавали. Пожарные для чего, для тушения, пожары всегда не запланированы. Москва задыхается от зноя и дыма, а тут выяснилось, что респираторов нет, марли нет. Мэра тоже нет. И возвращаться он не хочет. У него отпуск, а столица — «гори она огнем».

Все они, наши олигархи, так же, как и чиновники, проживают без стихийных бедствий.

Слабая, безвольная власть не в состоянии защитить нас ни от террористов, ни от коррупции. Выступает президент. Сегодня у него главная опасность — наркомания. Завтра главная задача — демография, дети. Послезавтра — всеобщая компьютеризация. Далее следуют всё новые и новые задачи: спорт, экология, милиция. Никак не может сосредоточиться и нам не дает.

Избавление

Был у меня непростой разговор о Сталине с нашими историками — Никитой Ломагиным и Юрием Васильевичем Басистовым.

Я добивался у них сформулировать окончательное мнение о Сталине. Итоговое. Прошло уже 60 (!) лет после его смерти. Не мог добиться. Все противоречиво — он провел индустриализацию страны. Создал институты, хорошее школьное образование, страна получила атомное оружие и т. д. Так что много плюсов, много и минусов. Но в математике, если умножить сколь угодно большое число, хоть миллион, на минус единицу — получим минус миллион. Любое количество станет отрицательным.

Если правитель уничтожил — казнил, губил невинных подданных, расстрелял без суда и следствия людей, составлявших цвет народа, то, сколько бы он потом ни сделал хорошего, чем бы ни возмещал потери, все равно он остается убийцей и не подлежит оправданию. Ничто не может возместить уничтожение невинных людей, расстрелы без суда и следствия, пытки, истребление целых народов.

Сталина надо было казнить. Так же как правителей фашистской Германии.

Когда он умер, я пошел на Дворцовую площадь. Зачем? Там сошлись тысячи горожан. Никто их не звал. Толпы. Думали, что вместе как-то легче справиться с горем. Или станет меньше

страха. Плакали. Оглядывались, искали, может, кто-то знает, что теперь будет. Что с нами будет?

А что могло быть с нами? Ничего не могло быть. Нет, нет, что-то произойдет. Катастрофа! Какая? Никто не ведал, будущее заволокло тьмой.

Теперь, конечно, уже не найти ни одного из тех, кто тогда был на площади. Никого не было! Никто не плакал! Невозможно представить подобное. Никто не хочет об этом вспоминать.

«Боже, как стыдно», произнести подобное — значит признаться, что ты там был. Или испытал что-то похожее. Ни за что. Слишком унизительно.

Избавлялся я от Сталина не месяцы, а годы. Даже XX съезд, речи Хрущева убедили меня не сразу. Действовала Победа в Великой Отечественной. Вспоминалось, как в 1944 году прибыли мы за танками в Челябинск. Туда был эвакуирован Кировский завод. Мою роту отправили в сборочный цех получать наши танки. Восемь машин новой марки ИС-2.

Была зима, новый цех еще не успели утеплить. В открытые настежь ворота задувал снег, мерзла броня, липла к рукам. Стояли раскаленные грелки, но ветер сдувал жар от них. Бетонные плиты пола заледенели. Ноги скользили, люди падали. В цеху работали подростки и бабы. Все голодные, слабосильные, а все детали неподъемны. Два мостовых крана не поспевали. Где можно, мы подвозили, кантовали. К концу смены нас ухайдакивало так, что коленки дрожали.

Но было одно обстоятельство, оно действовало и на нас, и на заводских. Сталин чуть не ежедневно звонил директору, справлялся, сколько машин выпустили. Подгонял. Говорил, что фронт держится на тяжелых танках, только они могут противостоять немецким «Тиграм». Нас с утра об этом оповещало радио. Приходил сам директор Зальцман.

Как мы вкалывали! Скидывали полушубки. Потом опять надевали. А поверх надо было напялить спецовку. Крики: вира!.. майна!.. стропы!

Звонок Сталина подгонял и устрашал. Все, начиная от директора, понимали, что в случае малейшей задержки, аварии головы не сносить. Пощады не будет. И вникать не станут.

Тогда, да и позже, я понимал, что этот страх накоплен годами репрессий. А в годы войны это срабатывало, наверное, сильнее агитации.

Понадобились годы, понять другое — Сталин преступник. Что бы нужного, полезного он ни делал и в войну, и до войны — он преступник, никуда от этого не уйти.

Он уничтожил больше людей, чем гитлеровский режим. В

войну мы убивали вынужденно, и те и другие. Сталин уничтожал людей во имя своего властолюбия. Непомерного, сатанинского, трусливого, паранойного. Это была не акция, это продолжалось 30 лет, 40 лет. Большой террор только до войны успел расстрелять семьсот тысяч, арестовано полтора миллиона.

Во время войны гибли красноармейцы не только на полях сражений. Их расстреливали и в нашем тылу трибуналы и заградотряды.

Величайший в истории преступник не был судим. Умер, оплакиваемый народом, только не своими соратниками и подручными. Они боялись его и ненавидели.

Может ли убийца миллионов чем-то искупить свою вину? Никакие благие дела не могут искупить зло, причиненное Гитлером. Оно измеряется не только миллионами уничтоженных евреев. Уничтожены были все пределы человеческой морали.

Сталин уничтожал свой народ. Русских, башкир, грузин, украинцев, белорусов. Уничтожал свою страну, ее цвет. Он избежал суда. Но будет судим потомками. Моим поколением и следующими. Вряд ли будущее помилует его.

Возмездие настигло его детей. Никто из его потомков не может похвалиться его именем.

С тех пор как появилась возможность за деньги печататься, число плохих поэтов сильно увеличилось. Благо нет редакторов, благо можно просто заказать свои вирши любой типографии. Прилавки заполнены неизвестными авторами. Кто хорош, кто графоман — не узнать. Этот книжный поток снижает вкусы, губит интерес к поэзии.

* * *

Учитель должен стать высшей профессией, иметь наибольший престиж.

Первая забота государства — выявление истинного таланта каждого человека, истинного его назначения. Тогда появятся и лучшие врачи, физики, учителя и министры.

* * *

«Я лучше стану на четвереньки, чем на колени, — говорил он. — Так устойчивей и более откровенно».

* * *

На свете нет некрасивых женщин, а есть женщины, которые не знают, как себя сделать красивыми.

Слава богу, что созданы институты, лаборатории, где добросовестно стараются во имя этой красоты — изобретают новые кремы, прически, массаж, диеты, лаки — чего только не изготавливают и чего только не делают, чтобы помочь женщинам. Хотя при этом проблема выбора для мужчин становится все тяжелее.

Кто-то мне сказал, что женщине нужно потратить годы, чтобы сделать из мальчика мужчину, из влюбленного — друга, а вот дурака она делает за пять минут.

* * *

«Не понимаю, почему люди боятся новых идей, меня пугают старые».

(Джон Кейдж)

На рынке я покупал творог. Продавщица протянула мне щепочку с куском творога попробовать. Творог был отличный. Я похвалил, сказал: «Дорогая моя, дайте мне килограмм».

Она посмотрела на меня, я посмотрел на нее, взгляды наши сошлись в совершенно непредусмотренном внимании. На какое-то мгновение я из безликого покупателя почему-то стал для нее мужчиной.

Она сказала:

— Хм, никто меня так не называл — дорогой. Никогда.

— Как же вы жили? — спросил я.

* * *

В России есть все, что надо для счастья, — природа благословенная, буквально со всеми ее радостями, просторами, разнообразием. Есть моря, есть океаны, есть горы, есть полярные области, есть жаркий юг. А какие реки, богатейшие недра. А какие леса. Есть, наконец, талантливый народ — от великих математиков до великих поэтов. Русский народ за короткое время обогатил мировую культуру живописью, музыкой, театром, балетом.

Что нам не хватает? Отчего у нас не получается счастье, благополучие, даже сносная жизнь? Первое, что приходит в голову, — не хватает честной власти, не гениальных полководцев,

или вождей, или реформаторов — нет, всего лишь честных правителей, обыкновенных граждан, имеющих здравый смысл и любовь к России. Даже не столько к России, сколько к людям.

В Кремле селились властолюбцы. Сколько я себя помню, мы жили со страхом, ощущая там, наверху, яростную борьбу за власть. Кровавую борьбу. Заговоры, интриги, исчезновение. Один за другим исчезали конкуренты, то и дело снимали портреты… То, что происходило в Кремле, никогда не было прозрачным. Постановления выходили оттуда бестолковые, всё больше о врагах, опасностях, всегда направленные против воровства, мошенников, всегда был враг для оправданий наших невзгод. Они сменялись, враги — Англия, Германия, Америка, они раздражали своим благополучием, жизнь там была более разумной, а уж когда открыли границу, начались массовые поездки, мы познакомились с жизнью и бытом рядовых граждан, началась массовая эмиграция. Что ей противопоставили наши правители? А стали еще больше науськивать, прежде всего Америку, изо всех сил работали политологи, историки, экономисты, журналисты, они выискивали материал, чтобы очернить и охаять. Враги Америки наши друзья, но хоть и друзья, а все равно обгоняют нас, и с этим смириться власть не может.

Миг

Картину Марка Шагала «Прогулка» многие считают его лучшей картиной.

Парень и девушка на фоне Витебска, вернее, над Витебском. Он поднял ее на вытянутой руке, она парит над ним в воздухе, держась на своей вытянутой руке. Немыслимая акробатическая поза. Но в эту минуту для них нет невозможного. Это порыв влюбленного чувства, когда все достижимо. Хочется взметнуть любимую в небо не отпуская, он может ей достать звезду, он расстелил перед ней зеленым ковром город.

Шагал сохранил этот миг своей молодости с такой свежестью, силой заставив меня вспомнить свою влюбленность, именно этот миг парения. Он вернулся, былое счастье опалило меня. Не знаю, стал бы я эту картину держать дома, перед собой. Слишком жжет. И печалит. Тоже ведь так было. Похожее. Художник сохранил этот миг. Только художник мог, это счастье живописца.

* * *

Екатерина Вторая увлекалась гравюрами Джованни Батиста Пиранези. Искусство, с каким он изображал Древний Рим, пленяло ее. Пиранези! Не могу себе представить что-то подобное в жизни наших губернаторов, а тем более премьеров или президентов.

* * *

Три знаменитых полководца Европы — Карл XII, Наполеон, Гитлер.

В истории нового времени они, пожалуй, самые знаменитые правители-полководцы.

Всех троих разгромила Россия.

Мертвая рука

Мой давний знакомый, дизайнер, рассказал: он оформлял выставку в НИИ. Этот секретный институт проектировал ракетные установки. Там ему рассказали, что у них спроектирована установка на тот случай, если нашу страну постигнет атомная бомбардировка и все будет уничтожено, вся оборона, все города, все люди, страна превратится в пустыню, тогда откроются шахты, и оттуда вылетят ракеты, тоже атомные, направленные на противника, они его уничтожат так же, как он нас. Мощь ответного удара окончательно погубит все живое на Земле. Установка называется «Мертвая рука». Когда-то Алесь Адамович рассматривал вариант похожий — а что, если, допустим, США нанесет нам атомный удар, решимся ли мы на ответный, зная, что это может погубить все на Земле? Обращался с таким вопросом к генералам, адмиралам, министрам, самым разным начальникам. Все, все отвечали — конечно, ответим тем же. Идентично! Симметрично! Так что, похоже, эта «Мертвая рука» не только превентивная угроза, это, по всей видимости, реальное сооружение. Хрен с ним, с этим шариком, с этой цивилизацией, раз они так, то и мы так, без всяких гуманизмов.

* * *

В 1981 году сенсацией стали выступления Козырева с его теорией времени. Он доказывал, что время в определенных условиях превращается в материю.

На одной из его лекций я был. Зал Дома промкооперации переполнен. Лектора встречают аплодисментами. Чему хлопают, чему рады? Зачем нам превращать время в материю? Лично мне времени не хватает, а материи девать некуда. Но интересно. Но переворот… «Время бывает плотное и пустое», «Плотность зависит от второго закона термодинамики», «Плотность зависит от процессов, происходящих с материей», «Время асимметрично, оно течет в одну сторону» — я читаю эти свои записи тридцатилетней давности. А ведь вместе со всеми повторял: «тут что-то есть», «а что, если…». Где она, эта теория, этот Козырев, сам-то он верил?

Сколько их было, подобных сенсаций. Лекарства от рака, снежный человек, Нострадамус, замок с привидениями, инопланетяне, парапсихологи, телекинез, левитация… Появляются, будоражат и бесследно исчезают.

Меня знакомили с ясновидящими, с телепатами. И опять что-то было и ничего не было. На самом деле хотелось, чтобы было. Хотелось чудес, волшебства, магии.

* * *

Собаки и кошки хорошо слышат ультразвуковые сигналы. Рыбы воспринимают сверхнизкие частоты.

Животные заранее слышат приближение шторма, землетрясения. Так что, господа, нам не стоит задаваться.

* * *

— Верите ли вы в Бога?

— Какого? Их больше трехсот.

* * *

— Мечтаю быть натурщицей. Представляешь — сижу голая, меня рисуют десять молодых парней, любуются. Каждый по-своему изображает.

На рынке

В мясном ларьке-сарайчике полутемь. Висит голая лампочка,

света ее не хватает. За прилавком мясник — плечистый, пухлый, с широкими рыжими бакенбардами. На голове у него беретик. Покупателей нет, мясо уже распродано, несколько жирных шматков лежат прикрытые пластиком. В углу играет транзистор. За дощатой стеной шумит предвечерний рынок. Мясник жует жвачку, слушает байки рыночного грузчика по прозвищу Куся. Лицо у Куси фиолетовое, испитое, безвольное.

В ларек входит старуха в толстых роговых очках, с плетеной сумкой. Она достает оттуда сверток, разворачивает, там куски мяса.

— Что же вы мне положили, вы извините, помните, я была утром, я же вас просила, мне больному человеку бульон варить.

— Ну и что? — спрашивает мясник.

— Тут одни кости и жилы. А этот кусок подложили тухлый. Понюхайте.

— Вы когда брали?

— Сегодня брала, в десять утра.

— В каких условиях он хранился, откуда я знаю, — говорит мясник. — У меня товар свежий. Смотреть надо было.

— Разве так можно. Я плохо вижу, — женщина обращается к Кусе. — Не разглядела, а дома видно, и цвет у него плохой.

— Бабуся, из костей самый лучший бульон, — говорит Куся.

Старуха вглядывается в него.

— Зачем же вы защищаете. Вы мне замените мясо, а то я жаловаться буду.

— Кому? — интересуется мясник.

— В газету напишу, — неуверенно говорит старуха.

Мясник и Куся смеются.

Старуха держит в руках развернутый пакет с мясом, руки у нее дрожат.

— Значит, на вас управы не найти.

— Слушай, старая, я не люблю жалобщиков, терпеть не могу, со мной надо по-хорошему. — Мясник выдувает изо рта белый пузырь, который растет, растет и лопается. Старуха вздрагивает. Мужчины хохочут.

— Да что ж это такое, — женщина вглядывается, говорит тихо: — Жулье! Что же вы творите. Это ж бесправие.

— Обзываться не надо. За оскорбление вас привлечь можно, — строго говорит мясник. — Обращайтесь в дирекцию рынка. А доказательства у вас есть?

— А это что! — женщина потрясает пакетом, оттуда падают кости, но она уже не обращает внимания. — Гниль! Это же ваше мясо!

Куся хохочет, хлопает себя по бокам.

— Ну, бабка, ты даешь! А кости чьи?

Старуха распрямляется и неожиданно кричит скрипучим сильным голосом:

— Грабители! Совести нет! На ком наживаетесь!

Мясник тоже кричит, Куся забавляется скандалом.

Они не замечают, как в ларек, подпрыгивая, вбегает девочка лет десяти, бледненькая, с портфельчиком в руках, тощие рыжие косички ее повязаны белыми бантами. Услышав крик, она замирает, глаза ее перебегают от старухи к мужчинам.

— Как вы смеете! — вдруг произносит она.

Старуха обрадованно поворачивается к ней.

— А кто ж они? Он не в первый раз. У него и обвес.

— Ты чего мелешь! — встревоженно гаркнул мясник. — А ну давай топай отсюда. Чтоб я тебя не видел.

По тону мясника и по тому, как Куся направился к ней, женщина, что-то учуяв, вглядывается в девочку.

— Никуда я не пойду. Я свое требую, девонька. На, понюхай, что они мне сунули, — она подносит девочке к лицу мясо, — нюхай, нюхай, не нравится?

— Ты что расшумелась? — говорит Куся, берет ее за плечи, подталкивая к выходу.

— Убери руки, бандит! Видишь, что творят? — старуха вцепилась в девочку. — Ты посмотри на них, мы со стариком в минимуме живем, и тут нас… на ком наживаетесь!

Она хватает девочку за руку.

— Частники! Нате, подавитесь своим воровством! — она сует ей в карман свой мокрый сверток. — Хапалы, на, на!

Мясник выбегает из-за прилавка.

— Ты что ж к ребенку лезешь! Ребенок при чем?

— Пусть знает!

— На тебе мяса, бери сколько хочешь. Знаю я вашу публику!

— Не надо мне ничего, — уже исступленно кричит старуха. — Подавись! Подавитесь вы все нашей жизнью ограбленной! — Она замахивается сумкой на девочку, бьет ее, бьет Кусю. Девочка пятится к дверям, открывает их спиной, выбегает.

— Эх вы, женщина, — мать называется, — бросает старухе мясник и выскакивает за дверь.

Он бежит сквозь рыночную толпу, длинный клеенчатый фартук хлопает его по ногам.

— Погоди, Аллочка, стой!.. Подожди.

Народ расступается, не понимая, почему он гонится за девочкой.

— Украла, — догадывается кто-то. — Мясо стащила. У нее из

кармана торчит.

Кто-то свистит ей вслед, кто-то кричит невсерьез, озорно:

— Держи ее!

От этих криков девочка мчится не разбирая дороги, лицо у нее слепое, портфельчик она обронила, она бежит через трамвайные пути, машины гудят, пронзительный визг тормозов.

— Остановите ее!

Его не слышно, он задыхается, хрипит.

Девочка сворачивает налево, еще налево, влетает с разбегу в кучу песка на панели, где идут дорожные работы. Падает навзничь, рыдает. Когда отец прибегает сюда, у него уже нету сил, он опускается рядом с нею на песок. Он держится за сердце, потный, испуганный, слышит, как судорожно всхлипывает дочь. Не может ничего сказать ей, так охватило ему сердце.

Встав на колени, девочка замечает в кармане курточки кости, выбрасывает их с ужасом. Ее колотит, слезы возвращаются к ней, она плачет навзрыд, горько, облегченно. Отец не решается прикоснуться к ней и слушать ее плач тоже не может. Слезы и пот мешаются на его одутловатом лице. Они сидят рядышком на куче песка и плачут. Любопытные останавливаются, постояв, молча идут дальше.

* * *

Кажется, Ганди сказал, что прогресс не умножение, а разумное сокращение своих желаний. С тех пор желания умножались и умножались. Мудрость бессильна.

* * *

«Ваш прибор сгорел, защищая свои плавкие предохранители», — так объяснял мне лаборант.

* * *

Курьерша знала нас всех по имени-отчеству и по фамилии, и жен наших знала, и адреса. А мы знали только, что ее зовут Шурочка. И оказалось, что за столько лет никто понятия не имел, как ее фамилия. Когда спросили Лахтину Александру Яковлевну, то мы сказали — такой у нас нет. И вдруг она поднимается и говорит: «Это я».

* * *

Он мечтал сделать у себя в саду пантеон умершим друзьям, всем им поставить камни, памятники с надписями, с эпитафиями.

* * *

В Китае висел лозунг «Четыре зла: мыши, мухи, комары, муравьи».

* * *

«Уничтожим мышей, они мешают двигаться к счастью».
«Пока есть, кто мешает, происходит движение к счастью».

* * *

На съезде депутатов председательствовал иногда Нишанов, это было очень весело, мы записывали за ним его фразочки вроде «Проблем у нас полный рот».

Улыбка

Наша жизнь резко отличается от европейской. Улыбчивость — она ведь располагает к общению. У официанта улыбка это пролог к «приятному аппетиту». Допустим, в немецкой пивной официант перекинется шуткой, поболтает. Демократичность не исключает уважения к посетителю, не уничтожает дистанции.

Пересекая границу, я попадал в европейское тепло иного нравственного климата. Беспричинная улыбка появляется на губах как знак привета. Краски становятся ярче, жизнь человечнее.

Собственно, что нам мешает улыбаться друг другу?

Вряд ли какая-то статья, обращение уговорят людей улыбаться. Нужно воспитание, нужен пример, нужна культура общения. Мне почему-то кажется, что культура Петербурга могла бы сделать его улыбчивей. Ему вовсе не идет быть хмурым городом, слишком он для этого красив.

Разумеется, в Штатах улыбка рекламная, показная, резиновая улыбка, показатель благополучия, хочешь не хочешь — улыбайся. На всех фотографиях белозубая, жизнерадостная, она плавает над всей Америкой, сама по себе, единая, многомиллионная, подобно улыбке Чеширского кота из «Алисы в Стране чудес».

Европейская улыбка, она для меня выглядит естественней, в ней больше воспитанности, меньше принуды. Допустим, еду я в метро, случайно встречусь взглядом с кем-то и получаю в ответ улыбку, короткую, небольшую. Что она означает, да ничего особенного, просто знак приветливости. Нет, пожалуй, что-то еще — открытость человека, дружелюбие. Меня это ни к чему не обязывает, разве что к встречной улыбке. Но, как я чувствовал, собственная ответная улыбка — это всего лишь легкое движение лица, оно не бессмысленно, оно порождает во мне некоторую приятность моего настроения.

В магазине, в баре, в гостинице, в банке, в самолете вас встречают с улыбкой. Называйте ее дежурной, называйте ее служебной, все равно это располагает к вежливости.

Честно говоря, подобное поведение я считал особенностью западного мира, необходимой принадлежностью конкуренции, так привлекают, мол, к себе покупателя, клиента. При капитализме приходится как-то зазывать. Мы были свободны от этой коммерческой необходимости. Но вот она появилась, и что? Да ничего.

Куда ни придешь — хмурые лица, серьезность, равнодушие. В московских гостиницах, где приходится останавливаться, ни разу меня не встретили с радостью. — «С приездом!» — хотя казалось бы…

Я уж не говорю о наших присутственных местах, какие они все там озабоченные. В лучшем случае тебя встречают нетерпеливо, или не скрывая утомленности, а то откровенно угрюмо — «как все надоели». Улыбки здесь не дождешься.

Магазины вроде начали конкурировать, но и там редко появляется ощущение, что тебя ждали, что твоему появлению рады. Недавно пришлось покупать мне обои в большом специализированном универмаге. Попросил продавца показать образцы. Начал он, как водится, с дорогих, по 500–600 рублей за рулон. По мере того как я искал подешевле, лицо его скучнело, начиная с двухсот рублей его интерес попросту исчез, я перестал его интересовать. Так что приветливость, она пока что зависит от покупательской способности.

Говоря о нашей неулыбчивости, слышишь обычно, нам, мол, не до улыбок. У нас кругом грубости, хамство, что же, мне хамят, а я буду улыбаться, с какой стати? Начну улыбаться, меня за придурка примут, чего это лезу со своей улыбкой, мы что, с вами знакомы? На что вы намекаете, что вам надо и тому подобное.

Когда-то меня поразила система японского общения. Там улыбка — обязательный элемент знакомства, разговора. Сперва она казалась приторной, но очень скоро я ощутил в ней красоту, она выступает как украшение жизни, улыбка украшает лицо, значит, и человека. Значит, и все вокруг подобно цветению вишни, солнечному свету и прочим улыбкам природы.

Жизнь наша существенно изменилась. Как бы там ни было, мы стали куда более открытыми, поубавилось ксенофобии, прибавилось европейскости, но по-прежнему мы выглядим хмурой страной. Нам для себя хватает юмора, хватает веселья, а вот улыбчивости — не хватает.

* * *

В Исаакиевском соборе Петербурга отец Андрей Кураев читал

слушателям свою проповедь. Читал, пользуясь микрофоном, слышимость получалась плохая, половину проповеди, а то и больше, слушатели не могли разобрать. Между тем Исаакиевский собор, несмотря на свою величину, был тщательно рассчитан строителями на обычный голос. Мне рассказывали, что добивались этого, устанавливая в куполе специальные горшки, то было особое мастерство искусных акустиков. Нынешние хозяева собора все это позабыли. Или не хотят знать. Вручают всем микрофон, не представляют себе, что можно выступать без микрофона, особенно в таком большом церковном помещении. Это любопытный пример нашего невежества и беспамятности.

Из письма ко мне Виктора Правдюка

…В центральном архиве Министерства обороны хранится секретная папка, куда занесены «расстрелянные лично маршалом Жуковым и его охраной солдаты и офицеры».

Папка засекречена так же, как засекречено множество документов касательно Великой Отечественной войны.

Прошло 65, прошло 70 лет, а война продолжает быть секретной. Празднуем Победу в Великой Отечественной войне, которая оказывается секретной войной.

«В белорусском местечке Радошковичи стоит памятник капитану Гастелло. На кладбище останки экипажа, совершившего подвиг в первые дни войны, 26 июня 1941 года. И фамилии погибших выбиты на обелиске. Но имени капитана Гастелло там нет».

На самом деле подвиг принадлежит экипажу авиаэскадрилии капитана Александра Маслова, об этом написано в журнале «Военно-исторический архив». Обычная история наших подвигов — или подвига не было, или был, но совершен другими людьми. С героями нашей войны не очень понятно. Их вообще на эту четырехлетнюю войну удивительно мало. Вот, например, 900 дней блокады — кого можем назвать? В основном мы называем одного героя — Ленинград. Виктор Правдюк справедливо отмечает, что Великая Отечественная война закончилась в 1944 году освобождением своей земли, «…далее начался заграничный поход Красной армии, чтобы провозгласить коммунистическую власть в странах Восточной Европы».

«Советский Союз вступил во Вторую мировую войну по дружбе с Гитлером 17 сентября 1939 года нападением на Восточную Польшу. Это какая война? Вторая мировая».

«Параллельно, не забывая о своей выгоде, Советский Союз

снабжает гитлеровскую Германию всем необходимым для ее войны против Запада. Какой войны? Второй мировой».

Вторая мировая это не Великая Отечественная. Виктор Правдюк считает, что народ воевать во Второй мировой войне не очень-то желал. Об этом нежелании говорят и цифры сдавшихся в плен бойцов Красной армии, сдавались тысячами, десятками, сотнями тысяч. По причине, не только указанной Виктором Правдюком, сдавались потому, что не хотели воевать за Советскую власть после всего, что она творила — раскулачивание, концлагеря, Большой террор, поэтому нередко отряды немцев встречали хлебом-солью и цветами. Советские люди так встречали.

«Четвертая часть окруженных в Сталинграде военнослужащих 6-й немецкой армии были наши соотечественники».

Пока архивы Министерства обороны и прочих наших заповедников не рассекречены, недоступны, пока под видом важнейших разведданных и тому подобной ветхости секретны, истории Великой Отечественной войны быть не может, и мы не знаем, что это было, — победа, освобождение или истребление народа.

Виктор Правдюк — петербургский кинорежиссер-кинодокументалист, автор многосерийного проекта «Вторая мировая война день за днем».

Хотя, по общему мнению, он был гений, избрали его в нашу Академию наук после того, как он стал членом Академий наук — американской, французской, английской. Пророков в своем отечестве нет, гениев тем более. Им, там, за границей, наш гений виднее. Речь идет о Владимире Игоревиче Арнольде. О том, что он был за человек, мне известно не так много. Хотя мы переписывались. Математик. Последние годы жил во Франции. И все резче выступал о недостатке математического образования. И во Франции, и в США едко высмеивал математическую безграмотность среди европейских студентов. Если бы только математическую. Он писал мне, что во Франции 20 процентов новобранцев полностью неграмотные (2000 год). Огорчала его и наша отечественная дремучесть. Не у солдат, а у ученых. Он прислал мне свою статью: «Что такое математическая физика», писал для журнала «Успехи математических наук». Казалось бы… Журнал считается вполне респектабельным. Арнольд — академик, лауреат и прочее, а получает отказ. Статью отклоняют по двум причинам:

1 — «Статья выражает мнение автора». Спрашивается, а чье мнение должен выражать автор?

2 — «В журнале „Успехи математических наук“ нужно писать

об успехах, а не о недостатках»!!!

Видимо, о недостатках должен писать специальный журнал.

Его считали фрондером, даже во Франции он был фрондером, объяснял французским студентам, что они недоучки. Фрондер — слово французского происхождения, но в любых науках ученый — фрондер, недовольный существующими работами, явление необходимое.

У В. И. Арнольда были свои особенности. Обычно он писал свои работы начисто, без черновиков, примерно как Моцарт.

Интересно, какие для него были в мировой математике великие: Ньютон — Эйлер — Гаусс — Пуанкаре — Колмогоров. Я обрадовался такому списку — все-таки из пяти двое наших. Владимиру Арнольду приписывают немало — создатель математического языка, создатель теории катастроф, отец современной вещественной алгебраической геометрии. В каждой области, в какой он работал, он становился классиком. Я не специалист, совсем не специалист, я могу только ссылаться на чужие мнения, но хочется отдать должное человеку, который на родине вполне заслужил памятника.

Однажды его пригласили на слушания в Государственную думу. В своей речи он наговорил немало огорчительного: «Россия сократила свои расходы на науку за десять лет в десять раз. Уровень подготовки школьников опустился ниже уровня церковно-приходских училищ, что были у нас до революции».

Складывается впечатление, что это — «План подготовки рабов, обслуживающих господствующих хозяев, этих рабов учат разве что основам языка хозяев, чтобы они могли понимать приказы».

1985-й

Мне позвонили из Москвы. Помню, что это была Екатерина Гениева. Попросила приехать, встретиться с Джорджем Соросом, американским миллиардером.

Это оказался невысокий, подтянутый человек средних лет, средне одетый, в очках, средней внешности. Никаких признаков миллиардера. Мы сели втроем, кажется, в ресторане гостиницы «Москва». Катя Гениева переводила. Я ее не знал. Был по-советски насторожен — американский капиталист, вербовать будет? Почему именно меня? Оказалось, Сорос хочет создать в России на свои деньги Фонды помощи культуре — театрам, издательствам, музыке, библиотекам, музеям и т. п. Особенно для провинции, русской глубинки. Не войду ли я в правление? Соблазн рискнуть

был велик. Взвешивать опасения и искушения я не хотел. Где наша не пропадала. Я согласился. Перед этим мы организовали «Общество милосердия» в Питере. Благотворительное. Оно успешно поработало года два, пока не рухнуло под развалинами кризиса. Об этом я когда-то написал, не хочу повторяться. Но кроме досады осталось и убеждение, что милосердие, помощь людям придает смысл нашей жизни.

Они сказали, кто еще войдет в правление — Аузан, Рогинский, Салтыков, Раушенбах, Алексеева, Бакланов, несколько прибалтов, кто-то из Сибири. Страна еще была в полном составе.

Питеру решено было иметь отделение Фонда. Специальное помещение, небольшой штат, правление. Фонду дали название «Культурные инициативы». И мы немедленно принялись за работу.

Центральное правление Фонда занималось выдачей грантов. Кому? Режиссерам, художникам, ученым-гуманитариям, музыковедам, историкам… Длинный список специальностей все время пополнялся — этнографы, археологи, краеведы, музейщики.

Гуманитарные науки бедствовали. Естественные тоже. Молодые специалисты не могли осуществлять свои проекты, помыкаются год-другой и уходят в торговлю, в издательства, становятся монтерами, малярами, жить-то надо. Уезжают за границу. Гранты, те, что выдавал Фонд, смогли хоть как-то остановить процесс разрушения нашей культуры.

Фонд соблюдал несколько принципов, предложенных Сорosом. Не требовать отчета о результатах, о потраченных деньгах. Благотворительность была основана на полном доверии. И заявки мы не проверяли. Судили на глазок, у каждого из членов правления был круг сведений о просителях, о их возможностях, мнение свое о необходимости поддержки. Как ни удивительно, эта высокая степень доверия, уважения оправдала себя.

Так мы проработали лет семь, с перерывами, и в 1995 году Фонд был преобразован в «Открытое общество» примерно с той же программой. До самого конца существования Фонда я был членом правления. Работа доставляла мне все больше удовлетворения. Тем более что кризис культуры в стране угрожающе возрастал.

Было создано, кажется, 30–50 отделений Фонда в регионах.

История Фонда, к сожалению, не написана, хотя роль его в сохранении памятников, музеев, театров, в издании литературы, учебников достаточно значительна.

В 2004 году Фонд вынужден был закрыться. Сорос заявил, что он уходит из России. Была организована травля его, называли его

агентом ЦРУ, его деньги специально выделенными США для антирусской деятельности.

Всего Сорос потратил на помощь нашей культуре, поддержку ученых, художников один миллиард долларов. Решала не сумма, а то, в какой критический момент она появилась.

* * *

Теперь оказалось, что Троцкий и Ленин были друзья, что Зиновьев вместе с Лениным скрывался в Разливе в шалаше, что против Хрущева был заговор, что против Ельцина был заговор.

* * *

Оказывается, Жданов играл на баяне и поэтому считал для себя возможным поучать Шостаковича. Считался он еще и литературным критиком. Ворошилов занимался художниками и сам не отказывал себе в живописи. Сталин ходил лично в оперу и в театр. В кино они ходили все вместе.

* * *

Потери ополченцев в Великой Отечественной войне не подсчитывались. Военно-мемориальный центр Вооруженных сил занимался учетом потерь Красной армии. Ополчение отправилось на фронт через неделю после начала войны, не успев оформить свои списочные составы. Мои комбаты иногда отправляли куда-то сводку потерь, а иногда не отправляли. На то были у них свои соображения. Не было учета потерь у партизан. Учета не было и военнопленных, есть лишь примерные цифры. Пока что историки остановились на общих потерях — 30 миллионов погибших. Страшная цифра эта будет еще уточняться и, очевидно, будет расти, ее все время поправляли, власти хотели бы остановиться на тридцати миллионах. У власти есть удивительное требование к историкам — не надо без конца ворошить прошлое. В том числе и потери. Но чем же должна заниматься история, если ей не дадут ворошить прошлое? Наша власть боится нашего прошлого. Такая была удобная цифра потерь — 7 миллионов. В 1987 году пришлось назвать 20 миллионов. В 2010 году — 30 миллионов. Цифру пытались заморозить, а потери противника увеличивали. Подобное я испытал, получив запрет публиковать в «Блокадной

книге», что в годы блокады погибло больше миллиона ленинградцев. Наши начальники хотели, чтоб мы выиграли войну согласно песне: «Малой кровью, могучим ударом!».

На войну они не пошли, ее не посещали, знали ее по песням.

Для «Блокадной книги» цензура потребовала шестьсот тысяч потерь блокадников, ни единицей больше. Цензура говорила: «Мало ли что историки подсчитали, ЦК дало указание категорическое».

* * *

Человек знает, что жизнь его коротка. Он хочет продлить ее, ощутить как часть чего-то большего, долгого, что будет после него. Это проявляется по-разному, например, в Европе удивительно трогательно мне было в немецких городках видеть стелы в память жителей, погибших во Второй мировой войне. Нацисты, просто солдаты, все имена их высечены в камне. Мало того, на тех же стелах сохраняются имена солдат, убитых в Первую мировую.

То же самое я видел и во Франции, и в Бельгии, в деревнях, городах, они живут с Историей, со своим прошлым, каким бы оно ни было, не открещиваются от него. Они потомки, они со своими предками. Родной город продлит память о тебе или хорошую, или плохую, это уж твоя забота.

Шантаж

Заведующая библиотекой в моем институте рассказала мне такую историю. Ректор института решил, что отдел художественной литературы в нашей технической библиотеке не нужен. Его следует ликвидировать. Заведующая стала отстаивать отдел, созданный еще в двадцатые годы основателем института академиком Николаевым. Он считал, что будущим инженерам нужно читать и стихи, и романы.

Ее доводы на директора не действовали. Тогда она принесла ему книгу Монтеня «Опыты». Старое издание. Раскрыла на закладке, положила перед ним на стол. Там на обеих страницах были крупно написаны ругательства, самые отборные, те, что пишут на стенах сортиров, на стенах подъездов. Узнаёт ли он свой почерк, спросила она. Он замахал руками, не скрывая возмущения. С чего она взяла, как она может ему приписывать такое! Тогда она терпеливо стала объяснять. Книгу эту за все

годы брал всего один человек, нынешний директор, записана она в его формуляр лет пятнадцать назад. Есть его подпись. Подпись почти не изменилась. Имеется отметка и в карточке в самой книге, она показала ему кармашек, вклеенный в книгу.

Ректор язвительно поинтересовался, с чего это они предприняли такое расследование?

Дело в том, что они готовят выставку о книжных вандалах.

— Это как понимать, как угрозу? — спросил он.

— Нет, хуже, это шантаж, — призналась заведующая.

Ректор пожевал губами, спросил, не сразу, в чем состоит шантаж? Наверняка он прекрасно понял, в чем. Но она не стесняясь ответила прямым текстом, сохраните отдел, да, шантаж, ничего не поделаешь, зато этот экспонат — хороший пример вандализма. Книга не так уж беззащитна.

Ректор принужденно рассмеялся. Надпись делал не он, а тот аспирант, каким он тогда был, мальчишка, дурак, наверняка был бухой.

— Какой? — не поняла заведующая.

— Поддавший. Кирял я тогда, — вспомнил он без особого раскаяния.

Экспонат! Ясно было, какой эффект такой экспонат вызовет.

Ему удалось шутками смягчить свою уступку. Дорогое ей старье, всю эту лирику оставят в покое, пусть пылится. Улику-то сотрем…

На том и порешили.

* * *

Морсосы.

— Каков ваш политико-морсос? (Политико-моральное состояние.)

— А секс-морсос?

— А физ-морсос?

* * *

«Читаю творчески. Умею перелатать автора через себя».

* * *

Я себя чувствую триумфатором!

* * *

— Мой любимый скульптор — Барокко. А ваш?
— А мой Ренессанс.
— Француз?
— Да. Рене Санс.

* * *

Для меня есть разница между коммунистами и большевиками.

Америка, Америка

Что бы они ни делали, все надо высмеять, охаять. Хотя на самом деле мы без конца заимствуем и подражаем. Вплоть до того, что, празднуя дни рождения, распеваем их песенку, своей нет, бежим перекусить в «Макдоналдс», носим джинсы, жуем их жвачки, играем в TV их «Что? Где? Когда?». Наибольшая наша миграция куда? — В США. И так во всем. Подражаем, заимствуем и поносим. Хотим дружить, но не можем. Не умеем мы дружить. Ни с кем не дружим. Со всеми перессорились — Грузия, Белоруссия, Украина, Польша, Чехия, Прибалтика, Япония, Туркмения — почти со всеми соседями.

Мы пошли на войну с чувством долга не перед Родиной, а куда глубже и обязательней — перед собой. Это было сильное чувство чести, тогда еще не растраченное. Сейчас от него мало что осталось.

* * *

В уборной нашей коммунальной квартиры висели именные деревянные стульчаки на унитаз, у каждой семьи свой. На кухне расписание уборки. На входных дверях четыре почтовых ящика, на каждом фамилия и название газеты. Были еще две семьи без ящиков, они не получали ни газет, ни писем. В передней висели ряды электросчетчиков.

Бытование в коммуналках беспросветно. Оно отвращает от понятия «моя квартира», для нее ничего не хочется делать хорошего. Мы жили в старинном доме, лестницы были украшены узкими панелями красного дерева, постепенно все их выломали.

Зачем? А потому, что коммуналка внедрила в сознание «они», все это казенно-отчужденное. Ангел места со всеми своими архитектурными красотами обрел враждебность. Коммуналка морально несовместима с классической архитектурой, с бывшими барскими квартирами. Коммуналка, она барачного происхождения, из бараков, позже она получалась из «хрущоб», с их тесной планировкой, низкими потолками, бетон, холодина, щели…

Где-то в сокровенных тайниках души я понимаю выходки городских «вандалов». Контрасты в их жизни слишком разительны.

Признание в любви

В два часа ночи мы с Сашей забрались в шалаш, сели и ушли в свои уши. Через полчаса закоченели. Земля под нами подтаяла, ноги в воде. Шевелиться нельзя. Пробуем положить друг на друга головы, одну ногу, вторую. У соседнего шалаша закурлыкали. У дальних шалашей стреляют. Началось испытание охотничьего терпения. При каждом выстреле понимаешь, что к нам никто не прилетит, и надо, пока не поздно, перейти в другой шалаш.

Тетерева «чуфрыкают». Но, оказывается, когда сидишь в шалаше, то тетеревиный шепот звучит совсем рядом, на ухо. Как бы далеко ни был тетерев, кажется, что он шепчет тебе на ухо и ты один слышишь этот горячий шепот. Удивительный фокус акустики.

Ухо мое выделяет из многих птичьих голосов тетеревиный. Это потому, что мы настроились на тетеревиную волну, ничего другого птичьего мы не слышим. А птиц множество, поют, чирикают, и по мере того как светает, все больше голосов просыпается, прилетает, хор их выступает совсем рядом.

Тетеревиная песня красива, может, это за счет долгого ожидания, и мне, и Саше кажется, что она лучше всех песен, и дело не в том, что мы находимся в преддверии выстрела. Мы медлим, жаль прервать его песню. Саша останавливает меня, песнь и впрямь необычна, она состоит из странных, казалось бы, не музыкальных звуков. Главное, что слышишь, как они искренни, это не просто бездумное чириканье, это потребность сообщить о своей страсти, он не стесняется, он поет все громче. Моя рука невольно наводит ружье, я понимаю, что мы можем теперь даже шуметь, он не услышит, он поет, ему и выстрел все равно. Клохочет, захлебывается, чувства раздирают его. Я слушаю с восторгом, он увлекает меня своей любовной страстью, я завидую

ему, завидую, как открыто и красиво он признается в своей любви. А ведь когда-то и я так же волновался и тоже трепетал, не в силах произнести свои слова, а он произносит, не может остановиться, ему надо высказать все свои чувства. Я вдруг ощутил этого тетерева, услыхал удары своего сердца. Ощутил наше мужское братство, братство не самцов, а влюбленных обольстителей, кавалеров, упоенных, жаждущих сообщить ей свою страсть. Боже мой, не просто владеть, а поведать о своем переживании; и для него, и для меня в эти минуты исчезло все, кроме этого пылающего призыва любви.

И Саша тоже заслушался. Стрелять невозможно.

Не только голод

Смертность в блокаду стали сводить к голоду. Невозможно жить при норме 250 граммов для рабочих и 150 граммов для служащих. Да еще вместо муки соя, жмых, влажность (она возросла до 68 %), это был не хлеб. Кроме хлеба изредка давали сахар и жиры. Строго говоря, блокадный паек следует считать по калорийности пищи, не по граммам. К январю 1942 года она снизилась для рабочих до 700 калорий в сутки, хотя норма составляла 3500–4500 калорий.

Для служащих с 581 калории до 473 калорий в сутки, а норма 3000–3200.

Так ведь при этом происходило и другое, не менее важное, происходила убыль человека, росли энергетические и эмоциональные затраты каждого. Человека изможда л холод. Мороз вошел в дом и в каждую комнату. Что ни день, то настигала бомбежка, обстрел, пожары, жизнь все время подвергалась опасности. Угнетающе действовал страх за родных, близких и ощущение своей беспомощности.

Прессинг всех бедствий возрастал из месяца в месяц, давил на человека неотступно, человек убывал, таял.

Вот что надо понять в этой блокадной жизни, кроме хлебной пайки.

За кулисами любви

У нашего снабженца Захара не было детей. Крепкий мужик, жена красавица, дом — полная чаша, а детей нет. Горевал он страшно и, видать, ходил к врачу, потому что разговоры о разводе прекратил, значит, как мы смекнули, дело-то в нем было.

Помрачнел, затосковал. И даже как-то растерялся человек. Потерял в себе уверенность, а снабженец без уверенности, все равно что пустая кобура. Однажды, на каком-то юбилейном сабантуе, поддали мы, и наш Захар признался, что не видит для себя выхода, потеряет он жену, брак их гибнет, чего он, Захар, не перенесет. Надумал он дать возможность жене погулять на стороне. Но как это сделать?

Мы посоветовали отправить ее на юг, одну в отпуск. Захар на это только плечом дернул. Было, оказывается. Ведь это первое, что приходит в мужскую голову. Ездила она в Крым, в Ялту, однако, судя по всему, вела там себя совершенно недоступно. Вот в чем загвоздка. «Любит она меня», — признался Захар чуть ли не плача, такое осложнение у них. Начисто отвергает курортные романы. Кроме того, прочитав литературу насчет наследственности, он, Захар, не желает получить ребенка от случайного прощелыги, мало ли — скрытый алкаш, или преступные наклонности скажутся, наследственная может быть эпилепсия, а также диабет, гемофилия, сердечная недостаточность…

Ужас, сколько всякой пакости можно передать детям. Поэтому он рассудил — если уж идти на такое дело, то с открытыми глазами. И смотрит он своими открытыми глазами на меня. Конечно, третий наш застольник, — инженер по безопасности Славик, — невидный из себя, да к тому же альбинос. Этот альбинос сразу ухватил, куда ветер дует, и говорит задумчиво: «Почему бы тебе, Гена, и в самом деле не помочь товарищу?» Почему именно я, говорю, если уж выбирать, можно найти более достойных, с ярко выраженными способностями, словом, всячески отговариваюсь, пока наконец Захар не обижается: я, говорит, самое заветное вам изложил, как друзьям-товарищам, а вы оскорбляете меня; ты, говорит, Гена, волочишься за кем попало, бабам от тебя проходу нет, а тут высказываешь обидное для моей жены как женщины сопротивление. Всерьез расстраивается человек, и без того нелегко, я понимаю, но верите ли, ничего с собой поделать не могу. Знаю я его жену Агнессу, дивная фигура; если бы обмануть надо было Захара, я бы к ней со всей охотой, а так, с его согласия, весь вкус пропадет, я даже уверен, что не получится у меня, оскандалюсь. Но ему говорю, что у меня по наследственной линии тоже не все в порядке, поскольку бабушка попала в психбольницу. Это ерундовина, возражает альбинос, вероятность ничтожная, кроме того, у тебя же двое детей, абсолютно здоровые ребята. Тогда я говорю, что есть другая, более серьезная причина, что, если честно, то я боюсь, потому что Агнесса мне давно

нравится, я могу к ней привязаться, и она ко мне, такие случаи бывали с женщинами, с которыми я имел дело. Прилеплялись — вплоть до взаимности. Это, вижу, подействовало на Захара.

Упал он духом. Эх, говорит наш альбинос Славик, был бы тут Серафим, все мигом бы сошлось. Имелся у него такой кореш, он сейчас в Израиль уехал. Мужик с гарантией, шуровал как раз среди бездетных баб. Ставил перед ними вопрос напрямую: если хочешь иметь ребенка — пользуйся, от меня наверняка понесешь. Мои живчики, ребята с повышенной проходимостью, через все лабиринты проникнут. Конечно, когда физиология имеет полный захлоп, эксперимент может сорваться. Ну, в крайнем случае, не такая уж катастрофа, ограничиться придется удовольствием. Это он гарантировал. Обычно, говорит, самые безнадежные от меня беременели. Делаю это я безвозмездно, исключительно в порядке гуманитарной помощи. Представляете, как себя подавал. И что вы думаете, большинство соглашалось, приходили к нему, подолгу его посещали. Каков был его КПД, альбинос не знал, сам же Серафим настаивал на рекордном попадании. Теперь он с успехом сеет свои семена и на земле обетованной.

Да, говорит Захар, это было бы мне как раз. Да, говорю я, лучше иметь дело с людьми посторонними, без служебных отношений, и вспоминаю тут Толю Миронова, дружка армейского. Спортсмен. Изобретатель. Имеет авторские свидетельства и троих детей. Парень мировой, древнегреческого сложения. Захар заинтересовался. Но тут наш альбинос: «А что как твоя жена заинтересуется этим изобретателем, у которого лучше данные, чем у Гены, так, что ее не оторвать будет?» Спрашивают — могу ли я поручиться? Ну, а как я могу ручаться? Зачем мне ручаться, мало ли что. Тогда, продолжает альбинос, у меня есть идея. А именно: дать ему деньги за это дело, с распиской, чтобы в случае чего Агнессе предъявить, на баб такая корысть действует оскорбительно. И гасит непредвиденные чувства. Короче говоря, так и было решено. Самое удивительное, что мой изобретатель оказался человеком жадным до денег, он согласился за 350 рублей, приличная по тем временам сумма, объяснял, что не может без цветов, духов и прочих подарков. Нужна для него какая-то поэзия, в кино хотя бы сходить.

Захар уезжает на это время, то есть на три недели, в дом отдыха, предварительно познакомив их. В последнюю минуту он дрогнул и не решился намекнуть жене, как было договорено. Про полную свободу поведения. Мой изобретатель закапризничал, заявил, что он соглашался на содействие, а тут надо склонять к измене. Это уже за пределами сердца, говорит, чистая аморалка и требует добавочного расхода нервной энергии и принципов.

Пришлось добавить ему еще сотню.

Порядок событий мне неизвестен, но, судя по тому, как Агнесса встретила своего мужа, как была смущена и ласкова сверх обычного, Захар решил, что все в порядке. То есть, с одной стороны, он пришел на работу расстроенный — все же жена не устояла, с другой стороны — полный надежд. Прошел месяц, другой — никаких подтверждений не поступило. Захар ничего не понимал, вызвали мы этого изобретателя, меня тоже привлекли как рекомендателя, спрашиваем его — было? Говорит — было! И неоднократно в своей добросовестности клянется… Доказательства сообщает: совершенно интимные приметы.

Поскольку я себя чувствую ответственным лицом, решаю сам, один на один, поговорить с мужиком, потому что история эта чем-то мне не нравится. Прихожу к нему вечером, дома его нет, задержался на работе. Сижу, жду, болтаю с его супругой. А надо сказать, что она работала в ветеринарной лечебнице и, следовательно, причастна к этой проблеме. Рассказываю ей нашу историю, разумеется, в алгебраическом виде, мол икс да игрек, у игрека не получается, привлекают на помощь зета…

Выслушала она мои уравнения, говорит: так не бывает, вчера легли — сегодня роды, капризы природы, есть и другая параллель: откуда, мол, известно про этого зета, под зетом могут быть величины с разными знаками. С какими разными знаками, возражаю я, если у него есть потомство. На это она отвечает: самодовольные люди мужчины, при чем тут муж? Чтобы ребенка родить, жена нужна, и странно, не по тексту, усмехается. Тут меня осенило.

— Из-за тебя, — говорю, — я свою репутацию испортил. Ах ты, иллюзионистка, ну да ладно.

Она аж задохнулась: с чего ты взял, да как смеешь, аж искры полетели от нее. Я смотрю — хорошо играет, но переигрывает, самую малость пережимает, и не та сцена получается. Ну, что же, говорю, это легко проверить, для медицины не вопрос, ты не беспокойся, я твоего отведу к специалистам за его же деньги.

Головка у нее быстро смекнула — хорошо, говорит, это не твоего ума дело, а дело нашей семейной чести, я все улажу.

Договорилась со мной нормально, по-деловому, сама насчет денег предложила вернуть через меня, но я это отклонил, достаточно, что она Агнессе поможет посредством автора своих детей. Что касается Толи Миронова, то тут я промашку дал, когда хотел с нее слово взять, чтобы она его не обнаруживала. Она посмотрела на меня с жалостью, неужели я не понял, что она любила своего изобретателя так, чтобы ему и в голову не пришло усомниться в своих достоинствах.

Короче говоря, у Захара спустя положенное время плюс еще примерно неделя, это бывает по капризам природы, появилась двойня, что мы отпраздновали дважды, и, между прочим, изобретатель потребовал, чтобы ему тоже поставили.

Запоздалые мысли

Мы жертвовали всем и ничего не просили взамен. Мы повторили трагедию потерянного поколения Первой мировой войны в куда худшем варианте. Те из нас, кому довелось еще пожить после войны, ее солдаты, у тех отняли последнее, что у них оставалось, — гордость победителей, поколения, уничтожившего фашизм, сознание освободителей Европы от нацизма. Победители не получили ничего, — сказал мне средних лет депутат член КПСС. Что вы нам завоевали: торжество сталинской политики? Оправдание репрессий? Вы сделали еще прочнее власть коммунистической номенклатуры. Победа! Ха, может, мы жили б куда лучше, если бы не ваша победа, жили бы, как немцы и японцы.

Вскоре после войны участники войны стеснялись надевать ордена.

Мое поколение это не возрастной слой. Среди моих одногодков обнаружились и другие, те, кто постарался остаться в тылу. Любыми способами уклониться от фронта. Придя в Союз писателей, я увидел там эти два течения явственными. Одним из вожаков реакционных писателей был Сергей Воронин, который уклонился от фронта, перетерпел уголовное наказание. За четыре года войны те, кто отсиделся в тылу, приобрели и должности, и наглость, и умение ужиться с властями. Тот же Воронин не стеснялся громить с трибуны писателей-фронтовиков, изображая борца за русский народ, подсчитывать, сколько в Союзе писателей евреев. Много лет он рвался к должности первого секретаря Ленинградского союза, уверенный в своем предназначении руководить этими глупыми мечтателями. У людей воронинской масти я всегда чувствовал тайное презрение к тем, кто принимал социализм, коммунизм и прочие лозунги всерьез. Характерно, что именно этих людей назначали на должности крупных руководителей. Среди членов Политбюро почти никто (кроме Брежнева) не воевал, так или иначе они уклонились от фронта. Гришин, Кириленко, Шелест, Подгорный, Рашидов… — уже не помню всех фамилий, но помню, что в биографиях у них у всех присутствуют формулы мнимого участия: «…во время Великой Отечественной войны возглавил коллектив железнодорожного

депо…»

Со временем у них у всех появились ордена и медали, не совсем боевые, но кто разберет в многоярусных цветастых планках.

Моих комбатов, и одного, и другого, — полковников Литвинова и Коминарова не звали на торжественные заседания, не приглашали в президиумы, их не просили выступать. Все это за них проделывали другие, те, кто не стрелял.

Экземпляр типичной вражды к фронтовикам я встретил еще в Ленэнерго, был там такой молодой, с русой челочкой, тощий, кошачий, всю блокаду пользовался броней энергетика, его неприязнь я ощутил явственно во всяких мелких пакостях, что он чинил мне, работая в техотделе. Однажды, когда его старание приписать нам аварию и лишить премии заставило меня учинить скандал, он сказал громко, посреди общей комнаты: «Те, кто храбро воевал, не вернулись с войны». Я дал ему пощечину. Разбирали дело на парткоме всей кабельной сети. Голоса разделились. Часть членов парткома поддержала К. «Слишком много о себе думают фронтовики, пора их осадить!» Решения не принимали. Любопытно, что тогда уже, это было в 1953 году, вылезло впервые для меня чувство, которое я не понял, и только теперь, вглядываясь в него, можно обнаружить в нем разочарование.

* * *

Я считаю свою литературную судьбу счастливой. У меня нет претензий к своей Фортуне. Я писал то, что хотел, как хотел.

С годами, однако, все чаще в безостановочной работе слышалось дребезжание, неизвестно откуда он шел, этот неположенный звук. Впервые это выявилось, когда я захотел писать о войне. Память отказала. Первые недели войны еще как-то сохранились, но затем октябрь, ноябрь — пусто, все выпало. Остался общий рисунок — окопы, стрельба. Потом отдельный артпульбат. Декабрь, январь, февраль, да почти весь 1942 год на передовой: клочки, кусочки быта, конец одной атаки, большая жестяная банка сгущенного молока, я иду с ней по полю, в меня стреляют, попали в банку, я заткнул дыру пальцем и иду. И далее такая же мелочовка: с кем жил в землянке, что за бои были у Пулкова, потом под Александровкой. Провал. И так провал за провалом следовали до конца войны.

Вкуса баланды, что доставлял старшина нам в окоп, — не помню. Что-то мы сами варили. Где добывали дрова? Как топили

свои печки в землянках, ночью, что ли, днем-то ведь по дыму немцы могли бы бить из минометов?… Время поглощало мою войну, ее плоть, ее быт, то, что должно было остаться со мною до конца. Меня обидели, я остался ни с чем. Где-то там, в глубинах памяти сохранилось что-то… надо было как-то извлечь. Но как? Если б я вел дневники.

Первая часть «Блокадной книги» — рассказы блокадников, мы записывали их спустя тридцать лет после блокады. Приходилось удалять то, что набралось туда из кинофильмов, телепередач, а память присвоила, украшая собственную жизнь. Вторая часть составлена из дневников тех лет. В них драгоценные мелочи жизни, которых никакая память не удержит, самое же важное, самая летучая фракция — чувства и переживания того времени. Этого не помнит никто, им, блокадникам, казалось, что они остались в городе случайно, не сумели выбраться вовремя, по дневникам же видно, что он, она не желали уезжать из города, считали позорным — бежать.

Теперь они ругают начальство за то, что не подготовили город к блокаде, не запаслись продуктами, дневник же уличает их самих: могла запастись сахаром, а отдала его сестре, которая уезжала на Урал, отдала, потому что не представляла, что Ленинград можно окружить. Только в дневниках закреплена степень наивности, сила веры в нашу мощь, в социализм. Дневники писали не из литературной потребности, а скорее от сознания историчности происходящего. Те, кто избегает самоцензуры, выигрывают. Кто может знать, какие очевидности станут неведомыми. Что рукописное объявление, приклеенное на стену: «Отвожу покойников на кладбище за 500 грамм хлеба» — окажется бесценным документом эпохи. Достаточно было бы списать подобные тексты, расклеенные на всех рынках. Записать цены на том же рынке, перечень того, что продавалось — галеты, жмых, дуранда, валенки, обручальное кольцо, дрова из паркета. Аккуратная летопись, хронология, которую вел архивист Г. Князев изо дня в день, дала неоценимый материал для второй части «Блокадной книги».

Вести аккуратный дневник, все остальное — романы, рассказы, повести — постольку поскольку. Ценность дневника с годами возрастает, ценность нашей прозы падает. Это нутром учуяли такие писатели, как Корней Чуковский, Евгений Шварц, Ольга Берггольц. Тридцатые годы, сороковые и следующие уходили бесследно. Вести записи было опасно, ежедневные — еще опаснее, хочешь не хочешь, у самых осторожных прорывались чувства недопустимые. Перечень друзей и знакомых, сведения о встречах с ними могли стать смертельными уликами.

К. И. Чуковский, лукавый, осторожный византиец, имел мужество всю жизнь тщательно заносить на бумагу то, что видел, слышал. Считалось, что в последние годы Ольга Берггольц пила и ничего не писала, а она, оказывается, аккуратно вела дневник. С 1935 года вела, не прерывала до самой смерти. И в страшные годы репрессий продолжала вести.

И Евгений Шварц вел дневник… Настоящие писатели не могут не писать.

* * *

Не знаю, сколько бы еще созревало мое решение уйти из Ленэнерго, но тут произошло ЧП, тяжелейшее. Один монтер нашего района при ремонте трансформаторной подстанции схватился за шины, они были под напряжением — шесть тысяч вольт — и сжег руки. Обе руки сгорели. Каким-то чудом сам остался жив. Как всегда в таких случаях, совпало несколько причин — плохое освещение, не повесили плакат «Не включать!», заземление оборвалось, главное же, как выяснилось, был он выпивши. Это надо было скрыть, иначе бы ему не дали пенсии. Без обеих рук и без пенсии была бы ему полная хана, а у него семья. Решили — примем вину на себя, небрежность, выгородим мужика. Руки были ампутированы, страшно было смотреть. Был суд. Эксперты выяснить должны были, кто виноват. Не повесили плакат? Кто не повесил? Заземление не проверили? Кто не проверил?

Интересно устроена наша память. Я начисто забыл его имя, всех помню, а его нет, и судебные подробности забыл, и его лицо, искаженное ужасом, когда в палате он поднял вверх свои культи. Не хотел его помнить, изгнал, забыть, забыть. И так прочно забыл, что с великим трудом заставил себя вернуться в те дни. Тщательно стер все обстоятельства, получилось просто — я захотел уйти из района. Чтобы заняться наукой. Уйти подальше. Чтобы ничего не напоминало его, не знать о его судьбе. Вину свою нам удалось отстоять, отсудить. Странный это был суд. Не хотели признавать нашу вину, хотели все взвалить на него. Адвокат Ленэнерго ловко выгораживал наш район, а район каялся, подставлялся.

* * *

«Медный всадник — революционный памятник монарху-

революционеру», — писал Александр Бенуа.

А его хотели снести. Очередной секретарь обкома.

А. Бенуа дивно писал про Санкт-Петербург. Например: «Фонтанка и Мойка — две скромные фрейлины Невы».

* * *

Наследство, оно вернуло прежний конфликт. Завещание — кому что, почему, тяжба, споры, раздоры. Отцы нахапали, наворовали, награбили. Выстроили дачи, виллы, а еще машины, бриллианты, картины, квартиры. Жена вторая, третья, семья непрочная. Дети привыкли, что главное — деньги. Выросли иждивенцами. Обеспечены синекурами. Отцы умерли, оставили им раздоры за наследство. Ибо все мало. Дети от разных жен, разных браков. Нет ни уважения к наследству, ни к фамильной чести, ничего такого им не оставили, только имущество, счета, о происхождении всего этого они догадываются и не хотят вспоминать. Яростно судятся — кому серебро, кому коллекции — если были собрания, допустим, картин, сервизы, все раздирают в клочья.

Впервые я столкнулся с этим, когда после смерти Анны Ахматовой начался дележ. Имущества у нее не было, был архив, вот его и рвали на части. Конечно, для продажи.

В. М. Жирмунский жаловался мне, архив ее именно в целости дорог для исследователя. Подобное происходило с наследством Геннадия Гора и других писателей.

Было бы принято составлять завещание — все же легче было бы и приличней.

* * *

На литературе лежит обязанность сотворить свой Нюрнбергский процесс над Сталиным.

Со дня XX съезда — культ разоблачили и оробели. Опять топчемся, мнемся. Начнем говорить — поперхнемся. Чего бояться? Сказать, что правил нами изувер, преступник. Его проклясть надо, прах сжечь, развеять, как это сделали с гитлеровскими палачами.

Мы будем все так же барахтаться в грязи, пока власть наша не наберется смелости осудить всю преступную сталинскую клику.

Мой друг Йозеф Швейк

В мировой литературе есть герои, которые покинули свои книги, то есть первоисточники, и поселились среди нас. Живут самостоятельно, независимо от автора и его сюжета. У них для этого есть все необходимое — характер, внешность, язык, свой образ мышления и действия. Таков Дон-Кихот, таковы Три мушкетера, таковы Гамлет, Фауст, Хлестаков, Обломов… Счастлив писатель, кому удалось создать такого героя. К ним относится и солдат Швейк, сотворенный Ярославом Гашеком.

С юности он сопровождает меня, подсаживается ко мне в трудную минуту, предлагает выпить пиво, круглая его простодушная физиономия, так точно изображенная чешским художником Ладой, сияет, переливается всеми радостями жизни. Ни минуты нельзя верить его придурковатой наивности. Он величайший мастер прикидываться простаком. Поручик Лукаш любит принимать его за идиота. Швейку это и нужно. Так он может говорить то, что хочет, посмеиваться над глупостью начальников, патриотической брехней. За этой маской он свободен и умудряется оставаться самим собой.

Гашек изобразил нам самого веселого, натурального человека в самых бесчеловечных условиях войны и абсурдного режима Австро-Венгерской монархии. Историческая реальность романа лишь усиливает его типичность. Ибо любая военщина всегда скудоумна, любая война — это грязь, абсурд, жестокость. Швейк сатирически комментирует армейские порядки, военные сводки. У него всегда находятся истории «к случаю», каждый раз он вскрывает глупость начальников, ложь патриотической фразеологии. Благодушная маска исполнителя позволяет Швейку вволю издеваться над военщиной всех рангов.

Швейк — любимый герой уже нескольких поколений читателей, его любят во всех странах, в России особенно, о чем я и свидетельствую. Он давно уже герой народный, герой нарицательный. Меня жена, когда я начинаю прикидываться, предупреждает: «Не швейкуйся!» Швейкование всем понятный тип поведения. Швейку подражают. Не припомню, какому еще герою можно так подражать, а вот Швейку можно. Разве что гоголевскому Хлестакову — вруну, хвастуну, импровизатору. Швейк мастер придуриваться. У него всегда есть история, смешная и убийственно меткая.

Швейк, написанный Гашеком в 1923 году, преданно сопровождал нас все события века. Его истории не стареют, устойчивые к пошлости, они и на Второй мировой войне были к месту, поскольку и на ней творилось то же. И поныне они хороши. Очарование Остапа Бендера почему-то потускнело, а Швейка — нисколько.

Я не склонен преувеличивать силу и роль литературы. Двадцатый век поставил рекорды человеконенавистничества. Литература старалась как могла обличать тоталитаризм, преступность. Бравый солдат Швейк немало помог нам сохранить любовь к человеку, спасительный юмор и умение сносить удары судьбы. Живучесть Швейка — это свидетельство того, что все так же процветает тупость, цинизм армейского начальства, что власть так же лжива и бестолкова, что человечество не умнеет. И что смешное есть повсюду.

Впрочем погодите, старший писарь Ванек спрашивает у Швейка, долго ли еще протянется война.

— Пятнадцать лет, — ответил Швейк. — Дело ясное. Ведь раз уж была тридцатилетняя война, теперь мы наполовину умнее, а тридцать поделить на два — пятнадцать.

Так что Швейка нельзя считать пессимистом, все же он верит в прогресс.

Швейк не меняется, поскольку, как он заметил, у него нет на это времени, да и зачем меняться, если человечество не меняется. Он неизменный комментатор наших безрассудств. Его неистощимые примеры относятся не только к военному времени. Я помню, как Хрущев на одном всесоюзном совещании изобретателей поучал директора большого уральского завода, что директор должен постоянно информировать о своих проблемах и Министерство, и ЦК партии, и профсоюзы. На это директор заметил, что тогда получится, как у солдата Швейка.

Хрущев насторожился: «А что там у вашего Швейка?»

«А то, — сказал директор, — что пока Швейк докладывал поручику Лукашу, что с чемоданами все в порядке, чемоданы сперли».

Зал хохотал. Хрущев побагровел, рассердился. Начальство не любит, когда смеются над чужими остротами. Директор наивно моргал, «швейковался».

В годы войны, на фронте никто не помогал мне так, как Йозеф Швейк, этот никогда не унывающий, все понимающий, знающий истинную цену лозунгам и приказам, требованиям полководцев, геройству, офицерским обещаниям… Смех — лучшее лекарство от иллюзий и лучшее средство человеческого общения.

Покуривая трубочку, Йозеф Швейк все с той же усмешкой смотрит на наши ослепительные надежды, устремленные к новому веку, он умеет из всего извлекать смешное, он не пессимист, он не ужасается людям и не проклинает их, он и не оптимист, он усмехается страхам и посулам, и, глядя на его идиотски-честную, благодушную физиономию, понимаешь, какая

забавная, сладкая штука эта жизнь.

История предоставила коммунистам блестящую возможность строительства коммунистического общества, однако они извратили мечту Маркса-Энгельса. То, что они сделали, надолго отвратило либеральные движения европейских стран, да и не только европейских, от мечты построить справедливый социальный строй трудящихся. В сознании мирового демократического движения то, что происходило в Советском Союзе, связано с массовым террором, однопартийной системой, с ужасами ГУЛАГа, жаждой мирового господства, агрессивной политикой. Это никак не дискредитирует революцию 1917 года. Первая революция, Февральская, была задумана как освобождение России от имперской монархии, Россия должна была стать и могла стать ведущей демократической страной Европы. Поучительно было бы изучить, почему это не получилось, почему страна была ввергнута в братоубийственную бойню, где погибли миллионы лучших ее представителей.

Проблемой жизненного благополучия людей они никогда не занимались. Главным было строительство социализма. Что это такое, граждане не представляли. Светлое будущее находилось в тумане. Мы только знали, что нас ждет всеобщее счастье.

Подарок

Однажды Александр Гитович рассказал мне о своей дружбе с Михаилом Михайловичем Зощенко. Они хорошо дружили, с ними дружила и Анна Андреевна Ахматова. В Комарове Гитович снимал литфондовскую дачу, и Анна Андреевна была его ближайшей соседкой, ей тоже выделили старую зеленоватую дощатую дачку, которую она называла будкой. Хотя любила ее, любила комаровские места, сосняк, песок, грибной и смолистый воздух. Дачки были летние, но Гитович в тот год остался в своем домике на зиму.

Как-то я выбрался к нему, приехал поутру. Гитович еще спал, в валенках, в полушубке. В сенях стояло ведро воды, в нем лед. Мы разбили лед и на электроплитке вскипятили чай. Перед этим выпили водки. Пить с утра не хотелось, но в комнате было слишком студено, только что безветренно. Водка в железной кружке, хлеб с маслом и колбасой, почти как на фронте. Гитович воевал в Отечественную, потом был на войне в Корее, двигался с нашими войсками, такая обстановка была ему не в новинку. Он был старше меня, но выглядел и крепче и мощнее. Черная с проседью борода делала его похожим на известный портрет

Хемингуэя в свитере. Эта фотография Хемингуэя висела тогда повсюду. Начинался культ Хемингуэя в России. До этого был культ Ремарка, был культ Сэлинджера. Интересная штука смена литературных культов, как они возникают и почему кончаются.

Мы выпили и заговорили об одиночестве. Гитович оставался зимовать в Комарове главным образом ради одиночества, из окружающих дачу литфондовских домиков все уехали, соседние дачи стояли заколоченные, ставни закрыты, ворота на замках, все завалено снегом.

Единственная вытоптанная тропинка вела к его домику. Кругом дома установилась добротная завидная тишина.

И одиночества, и тишины мне всегда не хватало, и то и другое я получал малыми порциями. Находил в Доме творчества, тут же, в Комарове, — все удобства, отдельная комната, а в промежутках тут же людные завтраки, обеды. И еще визитеры. А еще по соседним комнатам дробный стук пишущих машинок, на лестничных площадках дымили куряки.

У Гитовича кроме тишины было еще ощущение полной заброшенности, то, чего добивался.

Одиночество бывает и горьким, и сладким. В тот день он стал рассказывать мне про горькое одиночество Михаила Михайловича Зощенко. По его словам, Зощенко любил одиночество, хотя любил и небольшие компании, и женщин, которые его обожали. У него всегда их было много. После постановления ЦК, после всех проработок его перестали посещать, перестали приглашать, ни в библиотеки, ни в Союз писателей, многие вообще на улице переходили на другую сторону, завидев его, телефон неделями молчал. Наступало совсем иное одиночество, уже не годное для работы. Остались лишь несколько человек из его друзей, которые навещали его, и еще такие люди, как Шостакович, Корней Чуковский, не друзья, а поклонники, и главное — свободные люди.

Однажды в летний день Гитович приехал к Зощенко в Сестрорецк на его дачу.

Много позже смерти Михаила Михайловича я был там, это был маленький скромный домик. Его вдова сделала из двух комнатенок и веранды музей, на стендах были фотографии, листы рукописей, книги и кое-что из личных вещей мужа. Главное, была обстановка почти спартанская — кабинетик, комнатки, железная кровать, маленький письменный стол. Музейчик мне нравился тем, что он сохранял подлинность жизни Зощенко, обычно она исчезает стараниями музейщиков. Они стараются ее украсить, благоустроить, сделать то, что не получалось у покойного, хотя бы косметический ремонт, хотя бы

реставрировать кресла. Но этот музей был частным, беззаконным. Сюда приходили экскурсии из домов отдыха, из Сестрорецкого Курорта. Власти делали вид, что знать не знают.

Судьба последних лет Михаила Зощенко никак не была отображена в экспонатах, не было тех безобразий, проработок, ничего про доклад Жданова, про дружную ругань в печати; было совсем другое — как он когда-то счастливо жил и работал здесь, были независимость и достоинство великого писателя, которые уберегались за дощатыми стенками этого домика. Его вдова Вера Владимировна рассказывала мне то, что она рассказывала всем посетителям, — как он здесь жил, о его популярности, о той любви, которой он был окружен читателями, а читателями его была вся страна. По своей известности он, пожалуй, не знал себе равных, его жанр был редким в русской литературе. Юмор всегда дефицит, а в России тем более.

Сейчас снесли этот музей и от того домика ничего не осталось.

Итак, Александр Гитович как-то летом приехал сюда к Михаилу Михайловичу. Он рассказывал:

«Вхожу я через садик и вижу, представь себе — сидит на веранде Михаил Михайлович, ничего не делает, ни газет не читает, ничего, просто так сидит за столом, смотрит на растительность. На столе ничего, кругом никого, плотная тоска окружает его. Он мне обрадовался, скупо, настороженно, боялся, видно, не привез ли я дурных новостей. Жизнь тогда все время подкидывала неприятности. Я начинаю говорить ему — ничего, мол, Михаил Михайлович, все пройдет, пройдет и это, и наступит на нашей улице праздник. Ну, словом, сыплю обычную оптимистику тех лет, давайте, говорю, лучше помечтаем, как это будет, давайте не будем удерживать полеты своей фантазии, пусть она совершает любые виражи. И представьте себе, удалось мне чем-то зацепить его так, что Михаил Михайлович игру мою принял. Принял он ее без всякой улыбки, с той милой меланхоличностью, с какой он обычно читал свои рассказы. „Если говорить про будущее, совсем фантастическое будущее, я вижу, как я въезжаю к вам на белом коне, в буденовке, помните, был такой шлем с шишкой на голове. Въезжаю в ваш садик, соскакиваю, снимаю с седла мешок, мешок большой, поднимаюсь с ним к вам, звеня шпорами, кладу мешок на стол и говорю: „Вот вам, Михаил Михайлович, можете развязать“. Вы развязываете мешок, и, боже мой, оттуда выкатывается голова Плоткина. Вы спрашиваете: „Санечка, это ваших рук дело?“ А я говорю: „Да, это мой подарок““».

Гитович вспоминал с удовольствием. Я смеялся, наверняка и

Зощенко смеялся. Сталина уже не было, Жданова уже не было, но еще жили кочетовы, и жили прежние страхи, они неохотно дряхлели. Неизрасходованная жажда возмездия копилась. Ожесточение тех лет… А ведь ничто не исчезает бесследно.

Я мало знал Плоткина, так же, как и прочих злодеев трагической кампании по травле Зощенко в 40–50-х годах. Я узнал их в основном, когда бури улеглись. Прошлая их жизнь была от меня скрыта.

В те годы Плоткин беспощадно рубил в своих статьях и Зощенко, и Ахматову. Газетные обличения означали тогда гражданскую казнь. Каждая статья, каждое выступление прибавляли клеветы и тяжести наказания — «Не печатать! Не допускать ни к какой работе! Ни на радио, ни в издательства! Погибайте, никакого вам снисхождения».

Среди проработчиков Плоткин занимал видное место. Все это происходило до моего появления в Союзе писателей, при мне он уже выглядел вполне приличным благоустроенным профессором, но репутация его, репутация приспособленца, оставалась пожизненным клеймом. И только спустя много времени для меня прояснилось происхождение этого характера, типичная судьба той эпохи.

Про первую часть его жизни. В 1937 году, когда разгорелся в стране Большой Террор, он работал в Воронеже референтом у секретаря обкома, был такой Верейкис, личность известная в советской России, можно сказать, шишка. И, разумеется, Верейкис одним из первых угодил во «враги народа». Его расстреляли. Ночью Плоткин с женой бежали из Воронежа. Куда? — в Белоруссию, а дальше — из одного города в другой, только так можно было спастись. В те годы чекисты не ловили, а, получив разверстку, хватали первых попавшихся.

В 60-е годы передо мой предстал продукт уже законченный, изделие малоизвестного мне механизма той подлой жизни: человек, сломанный страхом, сломанный непоправимо.

Было жалко его, жалко было их всех, которые спасались, всячески приспосабливаясь. У поколения Гитовича была злоба и презрение, у моего поколения уже появилась жалость, даже сочувствие.

* * *

Никогда не мог понять, за что Москва заслужила звание — Город-герой. Всем известно, что 16 октября 1941 года, когда немцы вплотную подошли к городу, заняли Можайск, в Москве

началась паника. Первыми бежало начальство, большое и малое. Из райсоветов, из горсовета, а потом и из Кремля. Шли потоки машин. Легковые, полуторки, груженные домашними вещами, коврами и людьми. Дети, родные двигались потоками из города. Покидали заводы, фабрики. Прежде всего покидало начальство, те, у кого были машины. Повсюду жгли архивы. Списки, документы в райкомах. Архивы судебные, военные. По всему городу в воздухе летала черная копоть. Куда подевалось правительство? Где находится Сталин? Никто толком не знал. Чудовищные слухи подгоняли людей, гнали их из Москвы. Алексей Николаевич Косыгин один из немногих, а может быть, один-единственный из руководителей оставался в Кремле. Он рассказывал мне, как во всех кабинетах беспрерывно звонили телефоны. Он бегал из одного кабинета в другой, хватал трубку, заверял звонивших, что все в порядке, правительство на месте. Начались грабежи магазинов. Куда-то подевалась милиция. Я сравниваю Москву с Ленинградом в тот же самый сорок первый год, в те же самые месяцы. У ленинградцев еще оставалось какое-то время, недели две, когда они тоже могли бежать. Можно еще было покинуть город. Через Пушкин, через Александровку, по шоссе в направлении к Бологому, да мало ли — еще пути были свободны. Не покидали. Теперь считается, что зря не покидали. Не было ни эвакуации, ни бегства. Наоборот, считалось, что остаемся, будем защищаться, что город нельзя оставить немцам. Это была пусть плакатная психология, пусть неразумная, стратегически не оправданная, но героическая — это несомненно. Москва была скорее героем бегства. Героем был Сталинград. Героически вел себя и Севастополь. Геройской можно считать оборону, в которой участвует не только армия, но и население не желает оставлять город немцам. В Москве трусость чиновников заражала горожан. Паника быстро распространялась. Столица повела себя неприлично. Но может быть, естественно для переполняющих ее чиновников, всех этих ответственных, благополучных, откормленных защитников не России, а строя. Виновата, конечно, и власть, она не заботилась о том, чтобы организовать эвакуацию. Своевременно, безболезненно.

Пятнадцатый

То, что у него произошло с Агнессой, вдруг как-то связалось с одним забытым солнечным днем в Японии, в Киото, он вдруг всплыл, этот солнечный день, в Саду камней. Арена, усыпанная белым песком, и на ней в беспорядке торчат камни;

необработанные, диковатые, непонятная картина, окруженная скамейками, как в театре. За годы эта картина расплылась, лишилась подробностей, что-то к ней прилепилось, наверно, присочиненное.

Этот Сад камней — самый знаменитый сад в Японии, так ему объясняла переводчица. Камни, вросшие в белый песок, ни одного дерева, ни одной травинки. Вряд ли бы я сам мог понять, в чем смысл этого зрелища. Сюда приезжают туристы со всех стран, приходят японцы — зачем? Оказывается, это наглядное зрелище, где проявляется мощь учения дзен, нет ни одного сада, по поводу которого строилось бы столько догадок. «Кто его создал?», «Как его создали?»

Камней всего пятнадцать. Он немедленно сосчитал — их было четырнадцать. Они были расположены как попало. А оказалось, что не как попало, оказалось, что их не четырнадцать, а все-таки пятнадцать, так утверждала переводчица. Она была японка, и улыбка у нее была крошечная, еле заметная, она улыбалась не надо мной, а над тем, что я не понимал, а она знала. Этот храм возник из междоусобицы XV века. Здесь был храм, он сгорел, его отстроили заново, видимо, в конце 90-х годов XV века. Храм хранит для японцев воспоминания о закованных в броню солдатах, обрызганных кровью, это они, как ни удивительно, устроили этот сад.

Казалось бы, все должно быть поглощено войной, ан нет, строили сад, золотой павильон…

Сад тогда был другим. Росла трава и деревья. Потом они решительно отказались **от всего, что меняло свой облик.**

Сад приобрел беспредельность вечной жизни. Дух «бисара» развился, совершенствовался, чтобы выразить дух «дзен». Абсолют почти по Гегелю, не связанный с пространством и временем, потому что и они имеют границы.

Я не представлял себе, что все это можно описать на бумаге, очарование этого места и каждой вещи. Всего лишь пятнадцать камней, а видно всего четырнадцать, с какой бы точки ни смотрел, всегда четырнадцать, всегда не видно пятнадцатого. Наверно, жаждали они показать устойчивость, живя в этом изменчивом мире среди войн и катастроф. Этот сад не меняет свой облик; как живая природа, он рождает ощущение покоя, той вечности, которой люди жаждут. Создатели сада исключили и воду, и деревья, только в камнях они видят облик вечности, которая умиротворяет их сердца. Среду раздоров. И в то же время этот сад выражает души, жаждущие новизны и перемен. Я обходил сад по кругу и ниоткуда не увидел пятнадцать камней, всюду было четырнадцать, а тот, пятнадцатый, между тем

присутствовал где-то, заслоненный, невидный и невидимый, прятался в тени других. И сколько бы ни ходил, ни искал, всегда было четырнадцать. С любой точки зрения, несмотря на то что расположение камней менялось, т. е. они-то были неподвижны, виделись они каждый раз по-другому, и человеческое «я» должно было меняться, ибо изменялась вот эта взаимосвязь между камнями, но они оставались на своих местах.

И вот теперь, спустя годы, ему вспомнился этот сад как модель его собственной жизни. Этот сад опрокидывал самоуверенность его знаний. Он вспоминал и вспоминал, сколько заключалось в этих камнях, раскиданных по белому песку, они теперь, спустя годы, открывали все новые смыслы. Многое забылось из того зрелища, из объяснения переводчицы, но теперь вспомнилось, когда он расстался с Агнессой и не мог понять, почему они расстались. Он знал ее, знал себя, но что-то он не знал, наверно, в ней этот пятнадцатый камень всегда был невидим.

Он понимал, что любой человек это тайна. И Агнесса была тайной. И непонятно было, почему у них все кончилось. Он думал, что все можно предвидеть, все можно сосчитать, все молекулы, острова, реки… Ничего подобного. Оказывается, был пятнадцатый камень, какой-то другой, чем четырнадцать, какой-то неизвестный остров в море, она его видела, может быть, а он его не видел.

Культ

— Ты, милая, осуждаешь культ денег. Я тоже. От него много бед пришло. Культ денег противопоказан культуре, интеллигентности, скромности. Но иногда мне думается, может, этот культ неизбежен, слишком долго мы жили в бедности, теперь уже трудно представить, в какой бедности, тебе не вообразить. Это была городская бедность, бедность служащих, рабочих, бедность нашей интеллигенции. Как мы одевались? Перешивали старую одежку. Лицевали родительские пальто. Мои носки мать штопала. Ботинки чинили. Представляешь, шариковые ручки перезаряжали. Были такие специальные пункты. Отец мой носил рубашки со съемными воротничками. Так рубашка дольше сохранялась. Мать сама делала горчицу, натирала хрен — так дешевле.

Сейчас культ денег, а тогда, в 30-е годы, был культ дешевки. Технология бедности проникла глубоко. Сухие дрова для печки были дороги, дешевле были сыроватые, сушили их у себя в

комнатах. Ходили в ботах, носили башлыки. Галстуки изнашивали до дыр. Карандаши использовали до огрызка. Можно перечислять без конца. Сейчас выглядит унизительно — бедность всего нашего быта. К примеру — еда, каши, дешевые — перловка, манка. Макароны. Вываривали кости. Покупали субпродукты. Конфеты моего детства большей частью леденцы, ириски, маковки. Зато были кое-какие преимущества — еще натуральное, в нашей жизни не участвовала химия, не знали, что такое фальсификация.

В Летнем саду по воскресеньям играл духовой оркестр.

В городе было много лошадей, они возили, на них ездили. Были извозчики. Были ломовики, ныне это грузовики, грузовые автомобили.

Мусор был другой, совсем другой, не такой бумажный, как ныне, вся бумага использовалась: растопка для печек, туалет, оборотная сторона для записок. Писали чернилами, лиловыми и красными химическими карандашами, не знаю, как объяснить, что это такое, зато помню лиловые языки в школе, им слюнили эти химические карандаши.

На рынке можно было купить живую куру, неощипанных куропаток, тетерок, рябчиков. Почему-то помнятся — шкуры медвежьи, бурые.

Зимой по городу ходили в валенках и в бурках: валенки, подшитые кожей, с каблуками.

Вместе с предметами исчезли и их названия, целый словарь исчез: шифоньер, гамаши, керосинка, завалинка, чернильница, конторка, портупея, авоська, ледник, серсо…

Это вещи, а были еще понятия, они тоже исчезли — учтивость, кавалер, утварь, ухват… — их сотни, уходящих в небытие, тех, что составляли мир наших дедов, прадедов и родителей: компромат, местком, мещанство, проработка, подписка на заем, продовольственная карточка, панталоны…

* * *

В некоторых людях я чувствую Божий замысел. В них сохраняется нечто от Адама, таков был Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский. Такова была моя Римма. Много этого в моей дочери Марине. Хочется любоваться такими людьми, осознать красоту сотворенного. Замысел, о котором я говорю, всегда замечательный: воплощение радости, добра и благодарности к природе. Благодарность эта с возрастом тускнеет, исчезает, сменяясь жалобами и просьбами. Меньше стало того человека,

которого замыслил Господь. С самого начала он, наверное, увидел неполноту созданного мира. Чего-то не хватало в нем. Были птицы, рощи, реки, всякая живность, кому-то следовало любоваться этим, осознать красоту сотворенного. И был создан человек. Но ему все было мало.

Все же иногда появляются его потомки, то совершенное, что было задумано.

После войны на Карельском перешейке, под Питером, грибов было уйма. Мы собирали полные корзины белых, красных, рыжиков и почему-то больше всего маслят. За час-полтора — и больше класть некуда. Озера кишели рыбой. Ягод было полно: морошка, клюква, малина. На покинутых финских фермах кусты отборной смородины, много клубники. Несколько лет еще цвели среди развалин беспризорные цветочные клумбы. За порушенными заборчиками вовсю буйствовали сады. В сентябре глухой стук от падающих яблок, груш слышался по всему перешейку. В Комарове долго сохранялись семейства белок, дятлов, соек, мелькали лисы, зайцы, были даже рыси — природа наверстывала, годы войны были для нее отдыхом. Нас поубавилось, стало мало, зато птиц, зверья прибыло, леса наполнились звуками, нигде ни до этого, ни после я не слыхал такого множества птичьих песен.

* * *

Во время Великой Отечественной войны наши чекисты выявляли немецких шпионов по паспортам. Сам паспорт изготовлен безукоризненно, тем не менее в нем пропадала одна маленькая деталь, которая его выдавала. Скрепки паспорта немцы изготавливали из нержавейки. Наши скрепки были из обычной железной проволоки, которая оставляла ржавые пятна. На этом шпионы и попадались. Вообще же, смершевцы, а потом и чекисты (в отставке) рассказывали мне, что шпионов вылавливали очень редко, не потому что не умели, а потому что их было мало, да немцам и не очень требовалось. Нужные сведения они получали от перебежчиков, да и при наступлении им не очень нужны были сведения о численности, о вооружении, о командирах, все это доставалось им в первые год-два войны задешево.

Примерно то же самое можно продолжить и на мирное время, и на тыловые действия наших чекистов. Нигде не публикуется, сколько во время советской жизни было выловлено вредителей, шпионов и прочих врагов народа, я имею в виду действительных агентов и шпионов, а не тех, впоследствии оправданных,

безвинных.

На самом деле и ЧК, и ОГПУ, и НКВД, вплоть до нынешних органов безопасности, мало оправдали себя, они во многом работали впустую, во вред нашей стране, ее безопасности.

Мне говорили, что цифры подлинных шпионов удивительно малы по сравнению с расстрелянными и высланными. «Подлинные» исчисляются… Неизвестно. История пока умалчивает. Уничтожено же под этими названиями сотни тысяч советских людей.

Власть наша как появилась в 20-е годы, так принялась немедля расстреливать без суда и следствия.

Создавали всеобщий Страх. Репрессии были основным средством управления. Чем заставить людей, полуголодных, живущих в бараках, выполнять и перевыполнять планы сталинских пятилеток? Энтузиазм кончался быстрее всего у технической интеллигенции. Колхозы не смогли привлечь крестьянство, коллективизация не давала крестьянину никаких благ. Нужен был страх раскулачивания. Нужно было устрашать середняка. Его превращали в подкулачника.

Членов партии пугали простейшим способом — «положишь партбилет на стол!». Это означало гражданскую казнь. Исключенный из партии был хуже беспартийного. Он навсегда становился политически неблагонадежным.

Партию увеличивали, довели ее до 20 миллионов. Послушных, связанных воедино не идеей, а угрозой.

Наши правители все время увеличивали собственную охрану. Они боялись за себя, а не за страну. Они жили среди заговоров. На их власть покушались прежде всего их соратники.

* * *

«Он все разит, потому что всего боится».

Так писали про византийского императора Маврикия. Все властолюбцы следуют этому же правилу.

Ротшильды

(Мелкие игры крупной буржуазии)

Музей назывался «Искусство этикетки».

Музей устроили Ротшильды, это были этикетки для вина.

Уже с 1945 года художники соревновались в рисунках для

бутылочных этикеток. В музее были выставлены этикетки начиная с таких художников, как Пикассо и Шагал, вплоть до этикеток 1982 года, исполненных Базелицем. Экспонаты представляли собой этикетки плюс фотографии художников, собирает эту коллекцию семья Ротшильдов. Устроен был целый праздник, я был в Берлине, и меня пригласили. Мадам Ротшильд, ее сын, дочь — все они прибыли на церемонию. Каким образом был выбор художника Базелица, не знаю, его этикетка: два барашка вверх ногами. Красный и зеленый. Компания художников включала немало знаменитостей — там и Жан Кокто, и Брак. Особенность нынешнего события состояла в том, что впервые участвовал немецкий художник. После нацизма дом Ротшильдов перестал иметь дело с Германией.

Ныне, в воссоединенную Германию он вернулся. Два барашка — две соединенные Германии.

Мужчины прибыли в черных костюмах, парадные туфли, сорочки; дамы — в модных коротеньких платьицах, оголенные независимо от возраста и телес, сверкали драгоценности, были замысловатые прически. Меня все время знакомили: мадам Ротшильд, принц Гогенцоллерн, госсекретарь, министр, а вот еще один министр, виноторговец, промышленник.

Речи длинные, о значительности события, вроде бы маленького, но за ним стоит то-то и то-то.

Официанты разносят вино, шампанское и бутербродики. Все это длится часа три. Я пожимаю руку, мне пожимают руку, дают визитки, ведут к мадам Ротшильд, это приветливая, энергичная, громкоголосая толстушка с плохой фигурой. Коротенькое платьице, так что напоказ тонкие ноги, но ей наплевать, она выше своих ног и своей неприглядности. Вокруг нее суетятся фотографы, корреспонденты, наглядная разница с красавицами, ими интересуются гораздо меньше.

Поданы вереницы такси, и мы едем на обед, дается он в другом музее, где выставлены скульптуры — огромные фигуры немецких королей, курфюрстов, старинная паровая машина, громадная фигура Гете. Все это обслуживает наш банкет. Расставлены столики, играет оркестр, Гете и короли отодвинуты. За каждым столом десять гостей. Официанты в бордовых жилетах, висят занавеси алого сукна, оркестр играет что-то классическое, немцы аккуратно хлопают. Официантов в нашем зале я зачем-то считаю — 22 человека. Входят и выходят по команде. Каждый несет по две порции, окружают стол и по сигналу ставят, забирают, наливают. Обед мучительно долгий. Затем начался аукцион. Продавали бутылки вина с автографами художников. Цены 10 000, 25 000, последнюю бутылку продали за 45 000

марок. Целое состояние, считается — в порядке вещей, деньги пойдут на какой-то музей.

* * *

Немцы: кошка и собака соседа ходят гадить в садик не хозяина, а именно соседа, сосед, вместо того чтобы поговорить с хозяином, подает в суд.

Адвокат выиграл дело о том, что разведенный супруг не желает, чтобы жена его встречалась со своим любовником на их общей даче.

У нас, если поздно вечером у соседа играет слишком громко музыка, постучат ему в стенку или зайдут и попросят; здесь, в Германии, сообщают в полицию.

Неизвестно, что лучше. Во всяком случае, все по закону и без скандалов.

* * *

Классики русской литературы оставили нам поучительные вопросы: «Что делать?», «Кто виноват?», «Куда ты мчишься, гордый конь?» — это Пушкин спрашивал у Медного всадника. Спрашивали у кого? Очевидно, у нас. Лермонтов тоже признавался:

Я думал: жалкий человек.
Чего он хочет!., небо ясно,
Под небом места много всем…

Бесценное наследство. Мы то и дело повторяем друг другу, допытываемся, ждем ответа сверху, снизу. Нет ответа.

Что ищет он в стране далекой?
Что кинул он в краю родном?

В юности меня больше всего волновало пушкинское —

…Громада двинулась и рассекает волны.
Плывет. Куда ж нам плыть?

* * *

Если верить Жаку Бержье, участнику французского сопротивления, немцы в 1942 году уже имели Фау-снаряды. Французы выяснили, что центр научной разработки нового оружия находится на острове Пенемюнде. Они сообщили об этом англичанам. Однако там не поверили, что у гитлеровцев появилось новое грозное оружие. В конце 1942 года на Ленинградском фронте один пленный немец заявил, что фюрер обещал новое оружие, которое уничтожит Лондон, а затем и Москву. Слух об этом гулял по фронту, но мы считали это бахвальством Гитлера, таким же, как его план молниеносной войны с большевиками.

Союзники недооценивали атомные работы немецких физиков.

Немецкие астрологи сообщали о благоприятном расположении звезд.

Это тоже укрепляло скепсис союзного командования.

А тут еще Геббельс выступил с теорией «огромной лжи». Только большая ложь действует, только она оглушает, ее трудно уличить.

Фау-снаряды — немцы быстро увеличивали дальность их полета. Шли толки, что у немцев вот-вот появится:

— радиоактивный газ;

— атомная бомба;

— ракеты.

Так что «секретное оружие» готовилось у немцев не одно.

Самоуверенность Гитлера вызвала, укрепила недоверие и помогала секретной подготовке пусковых площадок для Фау на побережье Ла-Манша.

Группа французского сопротивления работала в полном мраке. Недоверие англичан дорого обошлось Лондону. Когда Фау стали действовать, бороться с ними было трудно. Лондон бомбили. Тысячи жителей погибали. Разрушения росли. Деза и недоверие сделали свое дело.

Мы-чание

«Мой дом — моя крепость» — хотелось бы то же самое сказать о душе: «моя душа — моя крепость». Душа, она ведь моя, это мой собственный мир, мои взгляды, мое владение, моя память. А получается, что нам легче говорить «мы» — «мы так думаем», «народ не поймет», «народу нужно…». «Мы» — нам кажется убедительней. Мы — звучит неопровержимо. Это

неслучайно. Удобнее не иметь «я», оно требует собственного мнения, оно ответственно. Куда проще «мы», вот и *мычим* всю жизнь. Повторяем чужое, принимаем чужое. Свое не выращиваем, не добываем. «Нас вырастила партия», она взяла на себя заботу о нашем мнении. «Наша цель», «наша идея». Не моя. Зачем мое, если можно разделять готовые установки, идеи, если можно присоединиться.

Душа существо беспартийное, она дана человеку как его собственность, которую он заполняет сам, сам растит. Она хотела бы сама голосовать, сама любить — не любить, сама поклоняться, сама каяться и страдать. Коллектив хорошо, если он не вычитает одиночества. У нас вырос тип человека, который боится одиночества. Ему все время надо быть в коллективе. Привычнее. Уверенней. 15–20 каналов телевидения могут подменить компанию. Айфон — тем более, да еще интернет. Виртуальные гости, юбилей, знакомства…

* * *

Школьница 10-го класса, она, не задумываясь, ответила, что самый большой у нас праздник это День Победы… И у нее?.. Да, и для нее тоже… Своих праздников у нее нет?.. Увы.

* * *

Как вы, господа хорошие, 18 лет терпели, не видели, что творится у вас под носом? Во времена Лужкова разрушали Москву, поставили чудовищный памятник Петру Великому, теперь его надо СРОЧНО (!) сносить. Разрушили гостиницу «Москва», «Военторг» и др. Сколько было протестов, просьб — ничего не помогало.

2011

* * *

Мы ненавидим всех этих гэбэшников, а их десятки, сотни тысяч, а они ненавидят нас, этих либералов, интеллигентов, критиканов. «Свободы хотят, обзываются, презирают нас, а на самом деле они быдло, цыкнуть на них — и все, хвост подожмут, заелозят, бандерлоги».

«Олигархов, засудив Ходорковского, удалось напугать, а этих грамотеев голоштанных еще никак».

Начальники писателей не читают, музыку не слушают, на спектакли не ходят. Зачем? Придется ведь как-то отзываться, давать оценки. Еще станут оспаривать. Нет уж, подальше от искусства, так безопаснее. Есть телевизор, картишки, газеты — достаточно. Другое дело — вручать премии, награждать режиссеров, авторов, это пожалуйста, это безопасно, аплодисменты, цветы, поцелуи.

Пепел

В пятом классе я подружился с Шуркой Бобовиковым. В классе Бобика не любили. Было в нем что-то собачье, жалкое, как у голодной дворняжки: тупой приплюснутый нос, большие уши, острые зубки. Он подлизывался к учителям, был жаден и труслив.

Однажды он увидел у меня марку, наклеенную на тетрадь. Это была траурная марка с Лениным. Бобик стал ее выпрашивать. Я послал его подальше, но он не отставал, скулил, потом догнал меня после уроков, продолжал канючить, а на следующий день, взяв с меня честное слово, признался, что собирает марки, и показал свой альбом. Альбом был тощий, но немецкий, в нем были напечатаны марки разных стран, на некоторые наклеены настоящие, цветные. Бобик — и вдруг собирает марки. Зачем ему марки? Меня рассмешило, что эта собачья шлепа называет себя коллекционером.

Я первый раз видел и альбом, и заграничные марки, больше всего мне понравились две треуголки. Красивые, на одной — пальмы, на другой — зебры. Я не знал, что бывают треугольные марки.

— Дешевка, — ухмыльнулся Бобик. — Только не лапай. Марки пальцами не берут.

— Пальцами, — передразнил я, — а чем их берут?

И он опять ухмыльнулся, уже надо мной, свысока, в руках его

оказался никелированный пинцетик, ловко подцепив марку, он показал мне водяной знак, движения его стали мягкими, ловкими.

Ценными оказались какие-то невзрачные немецкие и английские марки с надпечатками. На одной был усатый мужик, кто такой? Бисмарк, пояснил Бобик и принялся показывать мне королей и королев, о которых я понятия не имел, и каких-то других знаменитостей; он красовался передо мной, наслаждался своими знаниями, тем, что мог меня учить. Его коллекция, хвалился он, насчитывала восемьсот девяносто марок. Я запомнил эту цифру, огромная цифра, которая замаячила передо мною. Я вспомнил, что у матери в шкафу лежала пачка старых писем с польскими марками. С них все началось.

Марки стали обнаруживаться у соседей, конверты валялись на помойке, марки можно было выпрашивать у почтальонов, в конторе, которая была в нашем доме. Через месяц у меня набралось их двести сорок штук. Первенство Бобика не давало мне покоя. Он оказывал мне покровительство, иногда одаривал своими отходами, то есть дубликатами. Не знаю, почему я терпел его превосходство, если б кто другой, а то этот недотепа, тупарь, но он научил меня, как отпаривать марки от конверта, как наклеивать их в тетрадку, и всяким другим тонкостям. Иностранные марки он покупал. Оказывается, на Литейном был специальный магазин для филателистов. Я помню, какое впечатление произвел на меня длинный застекленный прилавок. На зеленом сукне лежали в прозрачных кармашках блоки новеньких роскошных марок. Яркие многоцветные картинки — негритянские воины, тигры, храмы, караваны. Словно заморские тропические бабочки. В массивных шкафах мерцали корешки толстых каталогов. На высоких стульях сидели взрослые дяди и листали альбомы разных стран. Альбомы Бельгии, Мексики, Швеции. Под каждой маркой карандашиком была написана цена. В рублях. Копеечных марок было немного. Дяди приходили со своими каталогами. Почему-то все каталоги были на немецком языке. Продавались альбомы. Дорогие, увесистые, с золотыми тиснениями, сладостно пахнущие кожей и свежей, еще не тронутой бумагой. Недостижимое хорошо помнится. Я откладывал мелочь, которую получал от матери на завтраки. Большие медяки обменивал на серебро. Жизнь обрела цель. Цель состояла в том, чтобы обогнать Бобика. Для этого надо было попасть в таинственный, роскошный мир филателии. Для этого нужны были деньги.

Я приходил в магазин вместе с Бобиком. Его тут знали. Деньги у него водились, иногда бумажками. Таких на завтраках

не накопишь. Перед приходом Бобик начищал ботинки, прислюнивал волосы.

Покупку нам клали в конверты со штампом магазина. Магазин был частный. В тридцатые годы кое-где еще сохранялись частные магазины — остатки НЭПа. Может быть, он числился кооперативным. Филателистический — не имел государственных конкурентов.

Мы шли к нам в парадную, на лестницу, садились на мраморный подоконник, и Бобик выкладывал свою добычу, сверх купленных марок. Несколько лучших марок он всегда прихватывал с прилавка. Он показывал мне, как это делается: запускал руку под альбомную страницу и стягивал со следующей страницы марку, прилипшую к ладони. Каким образом они прилипали — был его секрет. Но интересно, что я не спрашивал его. Я даже боялся, что он научит меня этому. Как я теперь понимаю, что-то мешало мне переступить. Что именно, не знаю. Но прямое воровство ужасало меня. Коллекция Бобика росла, а моя остановилась. Советские марки, те, что ходили на конвертах, — работницы в платочках, красноармейцы в буденновских шлемах, матросы — все это повторялось, заграничных же марок не прибывало, а старинных тем более. Покупать я мог только французские колонии, которые почему-то стоили недорого. Однажды я не вытерпел и стащил у матери рубль. Конечно, это я не считал воровством. Мы жили бедно. Отец был выслан в Сибирь, мать целыми днями шила платья на заказ. Она гордилась моими отметками, учеба давалась мне легко, поэтому всякие драки, школьные битвы сходили мне с рук. Классный руководитель Ксения Аркадьевна, как я теперь понимаю, хотела отвлечь меня от дурного влияния с помощью общественной работы, она давала мне всякие поручения, однажды поручила собрать деньги на учебники. По полтора рубля с человека. Сперва у меня оказалось на руках двадцать с чем-то рублей. Назавтра должны были принести еще. После уроков я немедленно отправился в магазин марок и купил из этих денег альбом. Тоненький, дешевый, но лучше, чем у Бобика. Синий переплет, на обложке выпуклая надпись. Продавец уговорил меня еще купить две сотни наклеек для марок, не помню уж точно, как они назывались. Весь вечер я переклеивал марки из тетрадки в альбом. Сладостное занятие. При этом обнаруживалось, как мало у меня марок. Были страны, вовсе не заполненные, — Испания, Аргентина — ни одной марки. Еще какие-то страны. Назавтра я накупил этих марок. Я восседал на высоком стуле, и продавец, толстый, в золотых очках, с уважением доставал из ящиков указанные мною марки. О будущем я не думал, сколько я ни

пытаюсь сейчас вспомнить, не было никаких опасений, я не придумывал, что я скажу, как оправдаюсь. Было счастливое чувство приобретения. Груда марок росла передо мною, заслоняя все последствия. На месте будущего сияла мечта о следующем альбоме, толстом, на тысячи марок, каталоге, сериях марок, играющих всеми цветами радуги, марок неведомых островов, затерянных княжеств, марок юбилейных с надпечатками… Приобщение к таинственной касте людей, связанных общей любовью-ревностью. Примерно так я расшифровываю то давнее чувство, что наполняло меня.

В тот же день я показал Бобику свой альбом, где почти на каждой странице трепетали лепестки марок. Я их еще не подсчитал, но моя коллекция становилась не хуже, чем у Бобика, это был рывок, во всяком случае, он был огорошен и обозлен.

Вскоре, разумеется, все раскрылось. Несколько дней я тянул, врал Ксении Аркадьевне, что забыл деньги дома, что мать ушла, заперла их в шкафу, но настал день и час, когда пришлось признаться во всем. Подробности признания начисто исчезли из памяти. Стыд аккуратно стер обстановку, слова, теперь там белое пятно, зато далее следует заключительная сцена, памятная во всех подробностях. Мать зажала мою голову между колен и ремнем стегала меня по голой заднице. В это время в печке медная дверца была раскрыта, и там пылал альбом, вся моя коллекция. Альбом корчился, сжираемый пламенем, желтые языки раскрывали страницы, забирались внутрь, марки уносились, махнув синеватыми вспышками. Только ярость матери могла придумать такую казнь. Чтобы лицом к печке, чтобы я видел, как гибнет не только то, что куплено на растрату, но и все остальное, честно приобретенное за несъеденные завтраки, выпрошенное, подаренное.

Сгорело все, без остатка. Рыдая, я сидел у печки, перед кучей остывающего пепла. Высокая, белого кафеля, печь осталась холодной. Злости на мать не было, справедливость кары не подлежала сомнениям, тем более что я слышал, как в соседней комнате она с дядей Игорем обсуждала, где достать деньги возместить мою растрату, двадцать пять рублей была серьезная сумма. Потом дядя Игорь вышел ко мне, сел рядышком, помолчал, осторожно погладил меня по голове, я уткнулся ему в колени. Так мы долго просидели.

Он гладил, почесывал мою голову, бормотал:

— …Те, у которых пусто внутри, хватаются за всякую всячину — марки, монеты, коробки… коллекционеры — это от пустоты, своего ничего сделать не могут, вот и собирают, собирают… неудачники.

Говорил он как бы себе, а я как бы подслушивал и поэтому запомнил.

Меня перевели в другую школу, чтобы избавить от позора и от Бобика. К маркам я не возвращался.

В юности досталось мне собрание гравюр, был соблазн их собирать, очень меня уговаривали. Уклонился. Говорил, что времени нет. Времени, конечно, хватало, но на самом деле — боялся. Себя боялся.

Школьные годы давно слились в один нераздельный поток детства, а вот пятый класс четко обозначен тем событием, оно не стало ни забавным, ни милым, оно торчит такое же постыдно страшное, гора остывшего пепла. И я над ним. То горе и стыд так и не стали смешными.

Остался интерес к чужим коллекциям, порой они удивляли диковинным человеческим увлечением — чего только люди не собирают. Один московский начальник повез меня к себе на дачу, показал сарай, где на дубовых полках выстроилась шеренга обуви разных стран и эпох. Ботинки, туфли, сапоги, ботфорты, башмаки, все заботливо протертые, смазанные. Я видел коллекции керосиновых ламп, перочинных ножей, граммофонов, флюгеров, журнальных обложек, пуговиц, карандашей, гвоздей, спичек, флаконов… Хозяева этих собраний составляли особую породу людей. Их азарт, их неутолимая жажда найти, достать, приобрести отпугивали меня и привлекали. Возвращалось опасливое чувство запретного, временами я ощущал как бы подземные толчки тех детских темных страстей…

С Бобиком мы встретились в середине 70-х. Я собирал тогда рассказы блокадников для книги о блокаде, ходил по квартирам и записывал. Меня передавали от одного блокадника к другому. Однажды на Васильевском острове мне сказали, что в соседнем подъезде живет один блокадник, любопытный тип, хотя он вряд ли мне подойдет. Да потому что он совсем не положительный герой, и кое-что рассказали о нем, всякие мрачные слухи.

Он не хотел меня принимать. Я долго уговаривал его сперва через приоткрытую дверь на цепочке, потом в полутемной передней. Я привык к тому, что многие блокадники не хотят возвращаться к своим тяжелым воспоминаниям. Но у меня существовало несколько приемов, которые помогали.

— Голодному нечего стыдиться, — сказал я, — и святой с голоду хлеб украдет.

Он был хромой, опирался на палку. Маленькая задиристая бородка сделала его неузнаваемым. Вдруг он пригласил меня в комнату, стал вглядываться и назвал меня по имени и тут же

спросил «имя-отчество». Он обращался ко мне на «вы», настороженно, с некоторым подозрением. Не разрешил включить магнитофон. Рассказывал сухо, коротко. Ему перебило ногу в первый месяц войны, демобилизовали, остался в городе, голодал, как и все в блокаду. Родители умерли.

Я делал вид, что записываю его рассказ. Комната была большая, уставленная книжными шкафами. На шкафах стояли бюсты чугунного литья всей династии Романовых. Висело много картин. После войны он работал в жилотделе. Странно, что он меня узнал. Я никак не мог высмотреть в нем того мальчика, вроде как ничего песьего не осталось в нем, и все же это был Бобик, и я не стесняясь передал ему то, что рассказывали мне о нем, как он обирал умерших от голода людей и на этом разбогател. Он слушал спокойно, согласно кивал. Облизнув губы, потребовал уточнить: что значит — «обирал».

— Вы знаете, что такое мародеры на войне? — сказал я. — А я знаю. Я имел дело с этими шакалами. Если вы забирали продукты, это понятно, голод не тетка.

— Продуктов у них не было, это точно, — подтвердил он. Похоже, что ему нравился мой гнев. Оказывается, он являлся не только к умершим, он заставал еще живых, тех, кто уже не вставал, с ними он тоже не церемонился, он давал им кусок сахара, буханку хлеба, торговаться они не могли, и забирал то, что ему нужно было. Он все это рассказывал с вызовом, не стесняясь. Жаль, что я не включил магнитофон, попробую по памяти восстановить его речь. Она была отделана жаргоном тех лет, он не оправдывался.

Когда наступила блокада, он пополнял коллекцию марок, она росла. Хлеб и крупу он добывал у одного коллекционера, начальника; однажды, придя к нему, увидел, что дом его разбомблен, дымятся развалины, тогда Бобик забрался туда, рискуя жизнью, по разрушенной лестнице и вытащил из развалин несколько альбомов. На черном рынке, оказывается, коллекционные марки котировались. Были прохиндеи, которые переправляли их на Большую землю и, по слухам, даже за линию фронта. У Бобика было то преимущество, что он знал многих коллекционеров.

— Да будет вам известно, что я спас многие коллекции. Их растащили бы. Сожгли! Вы видели эти мертвые квартиры, где хозяйничали крысы и управхозы? Вы не видели. Что, по-вашему, я должен был уйти, оставить все на гибель? Я не мародер, я из тех, кто, если угодно, культуру города нашего сохранял. У меня теперь одна из лучших коллекций образовалась. Вот мое оправдание! — он показал на шкафы, заставленные альбомами,

потащил меня в соседнюю комнату, где высились стеллажи с какими-то продолговатыми ящиками, каталогами.

Вся эта двухкомнатная квартира была набита его коллекцией, кроме того, еще в ящиках, оказывается, было огромное собрание открыток, которые он тоже нахватал во время блокады. Заодно подбирать стал фарфор, картины, имеющие, конечно, художественную ценность, надо бы и книги, так они, проклятые, тяжелющие, много не утащить. Всякое, конечно, с ним случалось, без греха не собрать такое.

— Только мне все равно, с кем сотрудничать, с Богом или с дьяволом! — заявил он. — Я не судим! От напраслины не спасешься, да я на все эти толки положил! Я, к вашему сведению, такое счастье имел от этого собирания.

Один из альбомов пахнул дымом до сих пор, он заставил меня понюхать. Другой был помят, порван кирпичами. Марками он добывал продукты не для того, чтобы подкармливать родных и близких, нет, извините, не было этого. На продукты он выменивал у доходяг марки для своей коллекции, он лишь молился, чтобы дом его не разбомбило, пожара бы не было, на остальное ему было наплевать.

Он стал стучать палкой, раскраснелся — типичный фанат. Только так, утверждал он, создаются настоящие коллекции. Это культурные сокровища, особенно в нашей стране, где не умеют ни хранить, ни ценить…

Он ни о чем меня не расспрашивал, ему не терпелось высказаться, я все же завел его, спасение марок, открыток было его подвигом, его участием в войне, не меньше. Блокада помогла ему добывать, нет — спасать! Он выполнял свой долг. Одержимость, замкнутая на себе, уверенная в справедливости своего дела.

Мне казалось, что в глубине его глаз искрится смешок, направленный на меня: «Вы-то меня должны понять!», как будто он имел в виду то давнее происшествие. Скорее всего, он и не думал уличать меня.

Я же теперь слушал его воспаленную речь со странным чувством грусти. Впервые я ощутил в себе выжженное когда-то место, так там ничего и не прижилось. Давно уже жизнь моя стала слишком бесстрастной, разумной.

Следовало хотя бы по памяти записать это посещение. Я этого не сделал. Скорее всего, у меня получилось бы осуждение, что-то ругательное. Почему-то этого не хотелось. Тем более что его история ничему научить не могла. Еще одна опустошенная жизнь.

На прощанье

Последняя повесть Алеся Адамовича называлась «Vixi». Двадцать седьмого мая 1993 года он записал:

«Закончил „Vixi“, она отплывает, как льдина, на которой шалаш, кострище, где ты жил, прожил часть жизни, часть себя, что-то прочитываю „по памяти“, уже как не свое, отдалившееся…»

Он не вел дневника, но делал записи, особенно в те дни 93-го года, когда его готовили к операции, когда невольно приходили мысли о смерти.

«Человек пишет и не думает: а не последняя ли запись?»

А он думал. Операция прошла успешно, а мысли о смерти остались.

И вот теперь, после своей кончины, он тоже отплывает, отделяется от нашего берега, туда, на другую сторону Леты, и уносит с собою часть моей жизни, большую часть, куда больше, чем мне казалось.

Жизнь, которую он вел, была отнюдь не бесспорной. Он был писатель. Писателей у нас много, слишком много. Он был из тех писателей, кого читают. Это главное отличие. Его знали, имя его было на слуху, но это еще не все — его читали. Со времен «Хатынской повести» у него появился свой круг читателей, и этот круг рос.

Примерно где-то после «Блокадной книги» он все активней стал заниматься гражданской деятельностью. По-моему, к этому толкнула его Чернобыльская трагедия. Во всяком случае при нашем визите к Горбачеву Алесь с болью и гневом говорил о преступном небрежении белорусских властей к последствиям Чернобыльской катастрофы. С тех пор он все больше времени и сил уделял проблемам АЭС, энергетике.

Конечно, и до этого его выходы в политику были достаточно резкими.

Я вспоминаю дискуссию в Минске о военной литературе (1983 год), когда выступление Адамовича генералы и партидеологи расценили как пацифистское. Весьма для того времени грозное обвинение. Он сумел находить разительные формулы проблем, которые ставил: «Если американцы нанесут нам первыми ядерный удар, нажмете ли вы в ответ кнопку? То есть уничтожите остатки человечества, покончите с жизнью на Земле?»

Вот какую дилемму он предложил.

Неслучайно Адамовича выбрали народным депутатом СССР. Депутатствовал он активно, выступал много, последовательно. В эти годы он приобрел народную известность. Депутатская работа, руководство Институтом кино, публицистика — поглощали все его время. Он много сделал в демократическом движении.

Литературная работа его почти замерла в эти годы.

Мы все, так или иначе, столкнулись с той же проблемой. Оставаться в стороне не позволяла совесть, участие в общественной жизни мешало заниматься главным своим делом. У Адамовича этот конфликт, этот разрыв происходил болезненней, чем у других, потому что он отдавался общественной деятельности со всей страстью, весь его пыл, вся его энергия уходили на митинги, на телевидение, в общественную жизнь.

Я спрашиваю себя — правильно ли он делал?

Сам по себе такой вопрос может показаться бессмысленным: что было — то было, тут не исправить, не прибавить.

Но жалко, что он так израсходовал свою предназначенность. Конечно, это говорится спустя годы, когда надежды сменились разочарованием. Сегодня писатель пишет.

Кроме этих общих соображений был еще его характер, жаждущий справедливости, то, что и составляло прелесть и силу его натуры. Он был воин, не мог сидеть за письменным столом, когда в августе 1991-го сталинисты двинули танки на Белый дом.

Противоречие между его призванием писателя и его гражданским темпераментом решало время.

Чем-то он был похож на Сахарова — в нем так же соединялись наивность, простодушие и твердость борца, доверчивость, слепота и одаренность политика. Он был хороший политик, в том смысле, что он был чуток к изменениям социальной психологии. Когда-то, во времена Горбачева, он мечтал руководить телевидением, и я уверен, что это было бы мудрое руководство, несмотря на его радикальность.

Но все же литература не отпускала Адамовича, она пользовалась каждым разочарованием, политическим поражением, чтобы вернусь его к письменному столу. У него появлялись вещи не всегда удачные, порой сделанные наспех, недоношенные. Стоило, однако, ему выпасть из обычной суеты политической ярмарки, как талант начинал звучать в полный голос, и сила и чистота этого голоса радовали. Такова была его последняя вещь «Vixi», недооцененная критикой и оцененная читателем. Эта повесть волнует мужеством исповеди. Заглянуть к себе в душу, извлечь оттуда сокровенное, тщательно упрятанное, на это в истории литературы осмеливались немногие.

«Vixi et quern dederat cuursum fortuna peregi».

«Прожита жизнь и пройден весь путь, что судьбой мне отмерен». Так полностью читается стих Вергилия, из которого взят заголовок повести.

Остались слова, ничего более, то, что остается от писателя. Образ? Конечно, и он, в душе близких, но быстро тающий,

уносимый жизнью.

Кстати, о близких. Во многом Алесь состоял из друзей, так же, как и друзья состояли из него. Я хочу назвать прежде всего Василя Быькова, затем Юрия Карякина, Юрия Черниченко, Элема Климова, Лазаря Лазарева… Наверное, были и другие, но и этот перечень, украшение того времени, лучше, наверное, подобрать сегодня трудно. В каком-то смысле он был морально-энергетическим центром нашего круга, он заряжал, он требовал, воодушевлял, беспощадно критиковал. Но я знаю еще десятки литераторов, например, у нас в Петербурге, которые чтили Адамовича, как редко бывает в литературной среде. После Сахарова он оставался в стране одним из немногих, кому люди доверяли.

В его искренности невозможно было усомниться, он начисто отвергал любые сделки с Хасбулатовыми, Руцкими, Жириновскими, бабуриными, со всем спектром сталинистов, монархистов, фашистов и прочих властолюбцев.

Пример его жизни заставлял задуматься — а может ли политик быть таким открытым и искренним человеком? Считается, что политика это грязное дело. Но так ли обязательно это? Слишком уж это удобная формула для политиканов, готовых на все, лишь бы удержаться у власти. Они оправдывают свою грязь необходимостью, свою личную лживость, коварство, предательство — неизбежной аморальностью политики. Достаточно вспомнить поучительные похождения Хасбулатова — Руцкого.

«Руцкой — это война, Хасбулатов — замечательный лицедей, — пишет Адамович. — Если кому-то понадобился бы актер на роль Иудушки Головлева — лучше не найти».

Из его записей приведу то, о чем мне самому тоже думалось. «Самое смешное, что мы пережили — как ушла партия-монстр, не сказав ни единого слова. Да, сейчас обрела голос, вопит и грозит, но мы уже видели ее: когда она крошила все и всех, напитывалась кровью, как упырь, и как трусливо разбежалась по углам». И последнее:

«…со смертью время не останавливается, а наоборот, пронесешься через миллиарды лет, как через один миг. Тебя же не будет, когда солнце погаснет… Но ты **был**, и солнце погаснет над **твоей** землей. Вся жизнь живая, и превращения материи в бесконечности после того, как ты **был**, не могут отменить и через миллиарды лет того, что ты **был**».

Он имел право на космическое это самоутверждение. Его жизнь была не просто существованием, она была данностью для нас всех. Его это утешало, мне же в моем ощущении потери это

мало помогает. Без него стало труднее жить. Колокол умолк.

* * *

В 2002 году в Штутгарте мне вручали премию Александра Меня. Я его знал. Однажды мы ехали вместе с ним с одной конференции, и я сел рядом с ним, хотел расспросить его о непонятных мне местах Священного Писания. Часа полтора мы беседовали. Мне запомнились не столько его ответы, сколько то понимание моей жизни, моих сомнений, которое он почувствовал. Вскоре его убили. А затем, еще через несколько лет, учредили премию его имени. Ее дали Котову, Айтматову, Приставкину, Горбачеву и Гениевой. На торжественной процедуре в Штутгарте собралось много народу. Мне пришлось выступить. А до меня выступали немцы и наши. Мне запомнилось выступление Ольги Бешенковской, я попросил стенограмму, и одно место хочу привести.

«Убийцу отца Александра Меня, разумеется, не нашли (как не нашли и убийцу Галины Старовойтовой). Александр Мень мешал и продолжает мешать всем тем, кто хотел бы сместить нравственные ориентиры людей, подменить веру демагогией, свободу догматом…»

Мне тоже пришлось выступить. Я сказал:

«У каждого из лауреатов премии свои заслуги, свой вклад в фундамент нашего общего европейского дома…

Смысл премии мне представляется не совсем так, как сформулировано. Премия Александра Меня должна присуждаться за чувство совести, очень неудобное для многих чувство, мешающее общему комфорту».

Однажды у меня был разговор с Александром Менем о том, как могут приходить к Богу ученые: биологи, физики, историки. Не обязательно через церковь. Веру поддерживает и укрепляет природа, да и личная судьба. Зачастую ее определяет вмешательство высшей силы. Особенно я чувствовал это на войне. Там мы часто непроизвольно молились.

Мы не во всем сходились. Но от спора с отцом Александром оставалось необычное чувство: если он побеждал, это вызывало уважение.

Он знал Тимофеева-Ресовского («Зубра») и чтил силу его духа. Для меня это много определяло.

* * *

Молитвы полны еврейских слов:
Аллилуйя — хвалите Господа!
Аминь — истина.
Елей — масло, знак благословения.

* * *

Еще Вольтер заметил, что если тебя при жизни перевели за рубежом, то после смерти тебя будут читать и на родине.

* * *

Единодушие сильнее истины.

Так мы живем

Нас толкнули
Мы упали

Нас подняли
Мы пошли.

* * *

Мой знакомый фрезеровщик молчун Моряков, подвыпив, разразился речью посреди своих шести соток:

— Все вы рвань сердечная, недолюбки, недожитки. Что вы будете вспоминать? Свои выпивки, взятки, кого как облапошили. Кому вы помогли? Кому? Столько лет переводили жратву на говно, вот вся ваша работа. Загубили огородников, тех, что растили ягоды, продавали дачникам. Жили-жили, нажили кучу денег, а прошлого не нажили. Были номенклатурой, стали макулатурой. Завидовали, ненавидели…

* * *

Мой первый рассказ «Вариант второй» был опубликован в 1949 году в журнале «Звезда», замечен критикой, похвален, и я решил, что вот так и пойдет, так и положено: я буду писать, меня

сразу будут печатать, славить и т. п. К счастью, следующая же повесть «Спор через океан», напечатанная в той же «Звезде», была жестоко раскритикована. Не за художественное несовершенство, что было бы справедливо, а за «преклонение перед Западом», которого в ней как раз и не было. Несправедливость эта удивила. Надо заметить, что инженерная моя работа создавала прекрасное чувство независимости.

Меня вызвали на Секретариат Союза писателей, поскольку критиковал меня обком партии и положено было реагировать. Руководил Ленинградским союзом А. Г. Дементьев, был такой критик. Докладывал о моих грехах И. Эвентов, был и такой критик. То, что он говорил, поразило меня, как можно было так перетолковать повесть. Я писал о попытках молодого конструктора избавиться от американского варианта, создать новую модель прибора, он же, Эвентов, говорил, что повесть показывает преклонение наших инженеров перед Западом. Эвентов кончил, Дементьев дал слово мне. Я рассердился, сказал, что на такую чушь отвечать не буду, встал и ушел. А что мне, я не член Союза и не обязан оправдываться. Пошли вы все…

Вернулся я в Союз писателей через год. Пригласил меня новый секретарь В. А. Кочетов. Я уже был член Союза, но в Дом писателя не ходил. А тут он пригласил и предложил поступить на работу референтом. Зарплата приличная. К тому времени я поступил в аспирантуру. Стипендия 180 рублей, на нее семью не прокормить.

Я согласился. Что такое референт, понятия не имел, но мне пояснили, что ничего особенного. А сам Кочетов дал понять, что это хорошо, что я не имею филологического образования, что я человек с производства, «от сохи», не заражен интеллигентщиной. Это был его «пунктик».

Поступив в аспирантуру Политехнического института, я три года имел право работать над диссертацией, меня это прельщало, потому что я мог заниматься своим романом. А должность референта еще больше устраивала.

Я очутился в неведомой мне жизни. Большая часть этих людей нигде не работала. Жили кто как хотел, спали днем, работали ночью, другие неделями слонялись по улицам, сидели в пивных, в библиотеках. Были состоятельные, была публика богемная, а то и просто бедняцкая. Пьянствовали, сплетничали, скандалили, сводили счеты. Хлопотали об изданиях, читали друг другу стихи, рецензии о себе. Говорили они о малопонятных мне вещах — фабула, структурализм, обэриуты, имажинисты, акмеисты… Слишком поздно я пришел в литературу, ничего этого

мне уже не изучить, да и не хочу, буду писать, как умею, Чехов тоже филфака не кончал. Чехов меня утешал, и Зощенко, а более всего фронтовики, мои одногодки, с их дивной беспечностью: влез по пояс — полезай по горло.

Была групповщина, либералы, реакционеры, почвенники, деревенщики, публицисты, очеркисты, главный же раздел устанавливал не жанр, не стаж, не пробойная сила, разделял талант. Явный талант, будь то поэты, прозаики, все равно объединял. У талантливых была примета, им, как правило, доставалось от критики. Юрий Герман, Ольга Берггольц, Евгений Шварц, Вера Панова, Михаил Дудин, Вадим Шефнер, Семен Ботвинник, Александр Хазин, Виктор Конецкий, Федор Абрамов. Талантливых критиковали, прорабатывали, им, как правило, доставалась нелегкая жизнь. Но, как ни странно, для меня все были интересны: и те и эти, каждый писатель нес в себе искру Божью.

* * *

Сталин умер, и «Ленинградское дело» кончилось, «дело врачей» кончилось, «дела» военных, «дело авиаторов» и прочие «дела» кончились.

Город остался словно вырубленный, не стало моих друзей на Кировском заводе и в Ленэнерго, почти никого из прежних руководителей, были только школьные друзья, те, кто вернулся с войны. Прежняя дружба вдруг оказалась самой ценной. Собирались чаще у нас дома. Римма готовила винегрет, целый таз, ставился хлеб, маргарин, приносили кто кислую капусту, кто селедку, разумеется, водку, главным же было общение, по которому так соскучились. Мало вспоминали войну, эвакуацию, больше обсуждали будущее страны, строили проекты один лучше другого. Ничто теперь не могло помешать благоустраивать предстоящую жизнь. Почему-то мы тогда не думали о чудовищных потерях, понесенных нашей армией. Жизнь в те первые годы после войны проходила в какой-то пьянящей бездумной лучезарности, не хотели вспоминать про обманы, про ложь начала войны, про отношение к инвалидам, к военнопленным. Это все приходило, но медленно, неохотно, старались не вспоминать про травлю Зощенко, Ахматовой… А, ладно, зато мы победили. Зато возвращались реабилитированные. По-настоящему для меня что-то треснуло, когда сняли Жукова. Он и Победа были для меня нераздельны.

Спустя полвека после Победы, в 1995 году, был опубликован

текст доклада Жукова на пленуме ЦК КПСС. Но Жукову не дали тогда выступить, Хрущеву стало невыгодно дальнейшее разоблачение культа Сталина, не состоялся и пленум. В тексте доклада Жуков писал, что из-за Сталина вооруженные силы оказались не готовыми к войне, не были развернуты, им запрещали действовать, чтобы отразить удар противника, «не провоцировать немцев на войну» — это было указание Сталина. Фашистская Германия напала на нас не внезапно, внезапность была придумана Сталиным, чтобы оправдать свои просчеты. Подобные просчеты продолжались в течение всех четырех лет войны. Жуков пишет: «У нас не было полноценного Верховного командования. Без Сталина никто не мог принять самостоятельного решения». В начале войны Сталин плохо разбирался в оперативно-тактических вопросах, его указания были неквалифицированными. Жуков вспоминает неудачные операции в Прибалтике, безграмотную операцию под Варшавой, можно вспомнить и бездарные операции в Крыму, операции проводили наспех, не обеспечивая технически, «так было на Северо-Западном, Западном, Воронежском и других фронтах». Жуков отрицал полководческий дар Сталина.

Однако после войны стараниями самого Сталина, а затем и Хрущева роль Жукова была отодвинута, а роль Сталина преувеличивалась, так что эта пропаганда приводила к тому, что мы обязаны исключительно Сталину нашей победой.

Лично для меня победа была давно связана, прежде всего, с именем Жукова, несмотря на все претензии к нему, справедливые и нет.

Примерно то же самое считали и мои старшие командиры батальонов и мои однополчане. Но идеологическая пропаганда всегда считалась не с нашим мнением, а с интересами политики.

* * *

У нас была мечта взять Берлин, отомстить за все поражения, окружения, за пленных; за четыре года, украденных из жизни, за погибших, поторжествовать, подняв свой флаг над развалинами Рейхстага. Всю войну мечталось. Но когда приблизились к границам Германии, появилось и другое — уцелеть, добраться домой, война выиграна, теперь хорошо бы не подставиться.

Появилось тогда новое понятие — «трофей». А что солдату взять в свой мешок, да и младшему офицеру? Ну отрез-другой втиснуть, конечно, если серебряные вилки-ложки попадутся — это годится. Самоваров у них нет.

Книги все на немецком. Когда ехал в поезде с демобилизованными, мне показывали разное. Один инструмента набрал ихнего, инструмент высшего класса, всякие прибамбасы, кронциркули, сверла, вилки, пилки — ну ему и карты в руки, он спец. Еще один вез машинку вязальную, носки вязать, какой-то фриц ему посоветовал, показал, как ее запускать. Он мне в поезде свои планы излагал, на этой машинке проектировал дом себе новый выстроить. Одни моргали, другие смекали, попадались смелые мужики, и правильно делали, свою контрибуцию брали.

Я знал Россию, которая поднялась на Великую Отечественную войну, спасая от фашизма свою страну, а за ней и Европу. Знал Россию после войны, когда оголодавшая, разутая, бездомная стала она восстанавливаться. Я знал эти две России, потому что и сам воевал и восстанавливал разруху в Ленинграде. Разрушенную энергетику. В войну были два прекрасных народа российских — те, что воевали, и те, что работали в тылу. И та и другая Россия действовали и страдали заодно. Трагические испытания показали, как высоко может подняться дух людей. Другой России мне не надо. А мне говорят, что России осталось жить не больше пятидесяти лет, что она станет мусульманской страной, что русский язык исчезнет, русские разбредутся по всему миру подобно евреям, и все прошлое России обернется мифом.

Будущее непроницаемо, у нас остается только вера.

* * *

Весной 1942 года мы вышли к Неве, увидели — плывет льдина, ладожский ледоход начался, а на этой льдине стоит женщина и солдат, оба вмерзли в лед и остались стоймя. Как это произошло, так и не поняли.

Провинция

После войны пять раз я приезжал на родное пепелище. Примерно каждые десять лет. Мы когда-то жили здесь. Жил я тогда с отцом и матерью. Отец работал в леспромхозах, и его перебрасывали то в Псковскую область, то в Новгородскую. Жили мы в Кневицах, в Парфино, в Лычкове, где-то под Кингисеппом. Но почему-то лучше всего запомнились мне Старая Русса и Новгород. Старая Русса — это парк, Муравьевский фонтан, первые два класса школы. Яблоневый сад. Гостиный двор. И множество тех радостей и чудес, из которых состоит детство. В

этом маленьком городе у меня остались главные воспоминания с нашим домом, садом, образ места с протяженностью летних, осенних месяцев, размеченных Яблочным Спасом, последними купаниями в Ильин день, а позже уже запретными малышне.

Тогда я знать не знал про Достоевского, что жил здесь, где дом его, — не знал и про других знаменитостей вроде Шаляпина, Горького, Сварога.

Спустя четыре года после войны мне наконец удалось вырваться в Старую Руссу. Познакомиться с Георгием Ивановичем Смирновым. Помочь ему пару раз в создании музея Достоевского. Подружился я с Калистратовым, местным начальником. Ездил с ним на охоту. На зайцев. Вкусная была лесная жизнь. О Г. И. Смирнове помнят. Музей рано или поздно обязательно установит какую-нибудь доску, фото, повесят портрет в память о своем основателе. Райкомы, райсоветы — эти конторы беспамятны. Причем умышленно. Да и сами они исчезают бесследно, каждый новый начальник старается уничтожить память о своем предшественнике. Взяли В. И. Матвиенко в Москву, и сразу же стали в Санкт-Петербурге доказывать, как все было не так. Стараются чиновники-угодники.

У провинциальных городов крепкая память. Они помнят имена своих земляков: и знатных, и бандюганов, и «без вести пропавших».

* * *

Маша рассказала нам про город, который она сочинила. Посреди города парк. Там бродят лоси, лисицы, ежики. Иногда они выходят в город. В жару заходят в рестораны, там, где кондиционеры. На улицах стоят кормушки, поилки. В реке купаются дети, дельфины, лебеди, утки, моржи, бобры. Полно птиц. Бродят фазаны, павлины, жирафы, лани. Раз в году дома переставляют, получают новые площади, сады, переулки.

* * *

Учительница химии — «щелочь».

* * *

Было это давно, а почему-то запомнилось и местечко, и

дивная уха, такой я никогда не ел и вряд ли придется. Сидели мы в ресторанчике на берегу Средиземного моря. Заведение открыто и днем и ночью. Кругом соляные пруды. Пахнет солью и водорослями. На этих водных равнинах стоят розовые фламинго. Их великое множество, как у нас голубей, пусть они простят меня за это сравнение.

Поселок состоит из каменных двухэтажных бараков. Живут там рабочие, те, кто добывает соль и рыбу. Получают мало, 3–4 тысячи франков. Зато едят вволю рыбы, морской. Здесь ее тринадцать сортов. Все тринадцать в нашей тарелке. Густая уха потрясающего вкуса, какой-то здешний секрет приготовления. У нее свое название «буйабез».

С нами обедал мэр. Он коммунист. Главная проблема — безработица. Строят стадион. Там зал, где могли бы собраться. Еще задача — кино, молодежь требует. Похоже на наши дела горсоветские. Только бесподобная уха отделяла нас от России.

* * *

Старея, профессор Демянов видел, как все меньше применяют его методы расчета. Появились новые материалы, новые схемы, кое-где еще пользовались его формулами для примерной оценки, пользовались, не упоминая его имени. Его еще приглашали на конференции, в лицо узнавали немногие. Он думал о том, что это участь всех бывших корифеев. Даже Гордеева с его знаменитой теорией пробоя изоляционных материалов постигла та же участь. Демянов признался себе, что это его несколько утешало.

* * *

Константину Леонтьеву красота была дороже человека. Ради нее можно погибнуть. А можно и погубить.

Любовь к человеку — это чувство, а не идея. Чувство это, как правило, кратковременно. В краткости этой есть зло, ибо конец любви причиняет страдание.

* * *

В детство стоит возвращаться хотя бы для примера, мы там еще не нагрешили, там не было корысти, тщеславия, карьеры. Был футбол, приключения Тома Сойера, драки. Поражение не

очень расстраивало, мы верили чудесам и будущему. Детство — это рай.

* * *

Судьба не любит подсказок, у нее свои планы, которых мы не знаем.

* * *

Бедность в семье появилась, когда отца выслали. Я уже был в седьмом классе. Сразу сменилась еда. Затем мы лишились сладостей. Экономили каждую копейку. Ели кашу перловую, овсяную, ту, что подешевле. Хлеб ели черный, лампочки горели в 25 свечей. Только настольная ярче, чтобы я мог делать уроки. В туалет шли с настриженной газетной бумагой. Мать перешивала отцовский пиджак мне по фигуре. На зиму заготавливали огурцы, солили грибы, лук. Летом все овощи становились дешевле. Мать покупала антоновские яблоки и бруснику. На праздники она нам с сестрой давала соевые конфеты или ставила на стол круглую жестянку леденцов — «монпансье». Мать пошла работать в ателье, затем стала шить дома, зарабатывала больше. И мы ели уже винегрет, жареную картошку, рисовые котлеты с грибами. Ботинки она мне покупала на вырост, то есть на номер больше. В носок туда подкладывали бумагу. Ботинки годились по размеру года на два. Для этого надо было их чинить, менять подметки, делать набойки. Каблуки быстро снашивались, шнурки рвались. Рвались носки, мать их штопала. На перекрестках сидели арийцы, так их называли. Они чистили сапоги, продавали ваксу, ставили набойки.

Бедности было много, но она не ощущалась как бедность. Тогда понятие бедности было другим. Бедность нищих, бедность деревенских, раскулаченных. В школе были состоятельные, обеспеченные и вроде меня, те, что ходили в обносках. Пожалуй, их было больше. Но неравенства не было. Никто не кичился, никто не стыдился своей бедности, не хвалились те, кто жил в отдельных квартирах. Хвалились мускулами, игрой в волейбол. Вот что было у многих — это велосипеды. Никто не мечтал о богатстве. Оно считалось буржуйством.

* * *

Столыпину недавно, в 2012 году, торжественно открыли памятник. А еще при его жизни Россия прозвала его вешателем, галстучником, это в смысле петли, накинутой на горло, ему не подавали руки. Лев Толстой писал про него: «Обращаюсь ко всем… и до вас, двух главных скрытых палачей… Петру Столыпину и Николаю Романову… Эти два человека, виновники совершающихся злодейств и развращения народа, сознательно делают то, что делают». Но вот прошло сто лет, и вспоминать это властям теперь невыгодно, а выгодно ссылаться на его деятельность реформатора, неважно им, что писал Толстой и другие, что возмущало Россию, у них другие сейчас заботы, и они берут то, что им надо, используя любое старье, любые пакости нашей истории.

Зачем вспоминать, что он ввел военно-полевые суды, повешены были тысячи людей, на каторгу отправлены шестьдесят шесть тысяч, ввел «скорострельную» юстицию. Льва Толстого поддержали такие люди, как Леонид Андреев, Александр Блок, Илья Репин.

Лев Толстой написал статью «Не могу молчать».

Террор, который развернул Столыпин, как писал Толстой, «… стал преступлением, которое превышало в сотни раз все то, что делалось и делается простыми ворами и разбойниками и всеми революционерами вместе…»

* * *

Религиозные тексты бывают пронзительны:

«Господи, как хорошо с Тобой и как тяжело без Тебя. Да будет воля Твоя, а не моя!»

«Господи, как я сильна, когда с Тобой, как хороша душой и как могу быть достойной Тебя!»

* * *

Легко делать из нужды добродетель.

Немецкая поговорка

* * *

— А все же вернемся к прежнему вопросу — если б тебе дали микрофон и трансляцию на весь мир. Три минуты. Что бы ты

сказал человечеству? Ты ведь мечтал об этом.

— Мечтал.

— Ну говори. Я записываю. Может быть, выпадет случай.

— Ладно. Слушай. Жалкие твари! Всю короткую жизнь свою вы копаетесь в грязи, топите друг друга, без цели, без радости дарованной жизни. Вы ни разу не задумались, зачем вы появились, так и уйдете без мысли, ничего не поняв. Зло, которым вы занимались, стало вашим смыслом. Вы собирали богатства, чтобы добраться до счастья, а получили страх. Радость у вас была лишь от надругательства и уничтожения недруга.

— Все? И что, от этого, думаешь, прибудет добра? Что люди получат? Больше веры? Не знаю…

— И я не знаю. Но осточертели утешения, обещания…

Наши меньшие братья

Цингер? Цингер… Со школьных лет эта фамилия затесалась в памяти. Был учебник физики Цингера. Была «Занимательная ботаника» Цингера. Из тех книг, что читали и отцы, и деды, стабильные учебники, что переходили из поколения в поколение. Учебник Цингера по физике это двадцать изданий, двадцать поколений школьников.

В голову мне не приходило, что я встречу живого Цингера. Жизнь на протяжении всех моих лет удивляет непредсказуемостью. Правда, встретил не его самого, а его сына, но это оказалось еще интереснее. Он был связан дружбой с дорогим мне человеком — Тимофеевым-Ресовским (Зубром). Они подружились в 1927 году в Берлине, куда Тимофеевых командировали обучать немцев.

Когда я начал писать повесть о Зубре, слух об этом распространился среди его учеников, друзей, поклонников, и я начал получать письма. Получил замечательное письмо от Олега Цингера. Художник-анималист, он жил тогда в Париже. Завязалась переписка. Письма не мой жанр, однако письма Цингера были полны интересных подробностей о Зубре, особенно про годы войны. Потом Цингер написал мне о себе. В письмах были его рисунки. Цветные. В 1977 году, будучи в Париже, я сговорил своего приятеля Ефима Эткинда, и мы поехали в пригород, где жил Цингер, неподалеку от Парижа. Жил в небольшом домике среди цветущих кустов. Дом художника, все стены увешаны его картинами, плакатами о выставках. Веселый, беспечный, еще гуляка, не сдался, переполненный историями своей жизни. В нем был талант наблюдателя и к тому же

рассказчика. Он многое повидал, а видел он глазами художника. Объездил зоопарки Европы, Соединенных Штатов, Сицилии, Корсики, Африки — всюду, где были его персональные выставки. Но не это главное. Главным было его совершенно необычное для меня отношение к зоологическим садам.

Олег Цингер умер в 1997 году.

Однажды, перебирая архив, я наткнулся на письма Цингера ко мне, стал читать. Теперь, спустя годы, прочитывал там не то, что прежде. Кроме Зубра, там был и сам Олег Цингер, его наблюдения над животными. Это совпало с новым состоянием моей души. Я живу рядом с питерским зоосадом. В последние годы он обустроился, стал получше, но, стиснутый со всех сторон уличным движением, шумом трамваев, машин, он все же остается зверинцем. Ему и тесно, и дымно, по вечерам я слышу тоскливый вой, рычание, похожее на жалобы заключенных животных. Они заключенные, иначе их не назвать. Питерский зоосад не хуже других российских зоосадов. Цингер описывает зоологические сады, террариумы, аквариумы порой с печалью, но всегда с любовью к животным, не переставая удивляться и восхищаться их обликом, умом.

«Самый лучший аквариум, который я видел, был в Штутгарте. Там огромные витрины для пресноводных и экзотических рыб… Меня восторгает исключительно утонченный, *рафинированный* вкус этих различных форм и окрасок. Уж никак нельзя обвинить рыб в декадентстве и в упадничестве, а в то же время сочетание цветов, форм и все это „выполнение“ этого живого существа создано как бы для знатоков и любителей — Пикассо, Дягилева, Пьеро делла Франчески, Миро и т. п., но еще получше, потоньше, и к тому же они еще живые».

«Когда я смотрю на эти новые устройства в аквариумах, мне становится печально, оттого что всего этого еще не было, когда жив был мой друг Ватагин и мои Родители. Не знаю даже, удалось ли Ватагину в конце концов увидеть Горилл?»

Василий Алексеевич Ватагин был знаменитый русский художник-анималист. Таких, как он, можно назвать еще Чарушина и Комарова. Цингер мальчиком мечтал познакомиться с Ватагиным, и однажды увидел художника в зоологическом саду, работающего с этюдником у клетки, где резвились обезьяны. Олег решил, что это не кто иной, как Ватагин и не ошибся. С этого времени, 1927 год, они подружились.

Ватагин обожал рисовать экзотических животных, сотни рисунков, альбом за альбомом, соглашался писать за небольшие деньги для издательств. Особенно ему нравилось рисовать для детских книг, это был хороший пример и нравственная школа для

Цингера.

Часто бывал в Ясной Поляне у Толстого. Толстой любил молодого Цингера и так его определял: «У Цингера при значительном числителе очень маленький знаменатель, что делает его большой величиной». Дед был тоже ботаником, а другой дед астрономом. И все остальные Цингеры были привержены ботанике, астрономии, и только Олег отбился и ушел в живопись.

Очень высоко Цингер ставит оба берлинских зоопарка. По разнообразию животных лучше один, по качеству животных — другой. Сады по-разному хороши, по-разному плохи. Когда-то я думал, что зоосад это забава для детей, тюрьма для животных, но Цингер доказывает, что зоопарк совсем не тюрьма, а «убежище». В хороших зоопарках животные сплошь и рядом чувствуют себя куда безопаснее и живут комфортнее, чем на воле. «Муфлоны из Корсики и Сардинии были спасены зоопарками… Со многими другими животными происходит то же самое». Цингер рассказывает, что антилопы и фламинго нашли в зоологическом саду приют.

Я видел фламинго в Берлинском зоопарке, стаи их свободно ходят по парку среди посетителей. Этих фламинго в зоопарках больше, чем на воле. Цингер отмечает одно чрезвычайно важное преимущество зоопарков: «Чтобы любить животных и почувствовать все разнообразие форм, красоты и образов их жизни, необходимо все это увидеть».

В природе, в лесу, например, в горах, в степи животные появляются на мгновение, встречи с ними мимолетны, а вот наблюдать их, и при желании часами наблюдать, можно только в зоологическом саду.

* * *

Отец Олега Басилашвили был всю войну начальником полевой почты. Рассказывал сыну:

— Как шли в атаку, очень просто, кричали «Мама!», еще было «За Родину! За Сталина!». Но больше было другое, дадут стакан водки на пустой желудок, и вперед. Кричали от страха, от безнадежности, потому что за спиной «ограды», те, в хороших полушубках, в валенках, вот мы и кричали: «Мама!»

— А немцы?

— А немцы навстречу нам, они кричат: «Mutter!» Так вот и сходились.

— А что за трофеи были, что брали себе?

— Часы ручные брали. А один татарин сообразил полный чемодан бумажников, кожаных. У нас такие были в дефиците.

В Будапеште шел он по улице, ударил снаряд, стена дома обвалилась, и открылась внутренность: комнаты, картины, буфет, сервизы. Он забрался внутрь посмотреть. Увидел альбом с марками. Надпись владельца на иврите. Зачеркнуто. Поверх надписи нового владельца — эсэсовца. Взял себе. Почтарь! Зачеркнул немца, надписал себя по-русски.

На немецкие марки ставил самодельную печать. На Гитлера. Печать — «9 мая 1945».

* * *

Когда Джордж Сорос впервые собрал правление «Культурной Инициативы», он предупредил — «будем помогать не слабым, а сильным, не тем, кому не пробиться, а тем, кто сумел встать на ноги». Это касалось — театров, ансамблей, оркестров, фестивалей, фондов, музыкальных олимпиад, исследователей, искусствоведов, археологов и т. п.

Принцип этот себя оправдал.

* * *

Что случилось в больнице с Леной?..

…Ее племянник живет в США. Узнав, что Лена тяжело заболела (инсульт), он прилетел в СПб, навестил ее, затем собрал своих однокашников по медицинскому институту, тех, кто связан с больницей и, дав им денег, попросил прикончить Лену. У нее хорошая квартира, которую можно задорого продать. Просьба сработала. Может, это была не просто просьба.

* * *

У доски:

— Вы все ссылаетесь на электричество, а что такое электричество?

— Хм… Забыл, я знал, но забыл.

— Постарайтесь вспомнить. Вы единственный человек, который знал.

* * *

Учительница потребовала, чтобы родители сделали евроремонт ее трехкомнатной квартиры. На выпускной вечер должен внести четыре тысячи рублей каждый.

* * *

Кинорежиссер Сергей Микаэлян вспоминал про 16 октября 1941-го, он жил тогда в Москве. Как под ногами на улицах шелестели горелые остатки бумаги. Всюду в учреждениях жгли архивы, шли машины, груженные товарами, продуктами, — вывозили из города магазинщики, рестораны. Больше же всего было машин с имуществом начальства. Спешили скорее, скорее из Москвы, уверенные, что немцы завтра войдут в город.

Сережа удивлялся:

— За что городу дали звание Героя? Ничего героического я не видал. Город был открыт настежь. Входите. Другое дело потом, когда армия погнала немцев, разгромила их, но то армия.

Подобных рассказов я слыхал немало. Ничего героического никто не вспоминал.

* * *

Все же при всех ужасах военных лет, концлагерей, террора, милосердие не погибло, растет понимание того, что такая жестокость недопустима, стремление к человечности растет, все чаще проявляется взаимопомощь, сострадание. Производная добра — положительна.

* * *

Медведева отправили на фронт из лагеря. Подселили ко мне в землянку. В лагерные годы он сидел с разными людьми.

Среди ссыльных там был профессор историк, был специалист-энтомолог, был строитель Днепрогэса, целый университет. От них Медведев многого поднабрался, и начался у него процесс сомнений, который уже не остановить. Мир заблистал новыми красками, отнюдь не праздничными. Победная история редко бывает правдивой, в нашей стране только от ссыльных людей можно было услышать правду. Конечно, ее предложение не превышало спрос. Но Медведев пытался собрать ее обрывки, намеки, недомолвки, умолчания в одну картину. Зачем? Может,

хотел понять смысл своего нахождения в этой картине. Не знаю.

«О подвигах, о доблестях, о славе…»

Диалог Даниила Гранина и Александра Мелихова

Мелихов: Пушкин когда-то собирался поговорить с Кюхельбекером о Шиллере, о славе, о любви. О любви мы уже поговорили, Шиллер сегодня, к сожалению, не актуален — давайте поговорим о славе. Вы, в сущности, единственный из моих знакомых, кто познал настоящую славу. Не просто известность, признание каких-то кругов, а полноценную славу, когда человека знает действительно вся страна. Так скажите, во-первых: правда ли, что слава такой напиток, который чем больше пьешь, тем больше жаждешь? И второй вопрос. Мы все в юности мечтаем о доблестях, о подвигах, о славе, и вы один из очень немногих ее достигли, — сделалась ли от этого ваша жизнь более приятной, красивой, безопасной?

Гранин: Хороший вопрос. Наверно, ответ надо начинать с того, нужна ли была мне когда-нибудь слава, мечтал ли я о ней? Наверно, да. Но это была мечта, скорее, не о славе, а об успехе, это разные вещи. Когда я начинал в литературе, я жаждал успеха, успеха той книги, над которой я работал. Наверно, слава — это нечто другое. Она не зависит от конкретной работы, которой ты занимаешься, она зависит от… Она более прикреплена к человеку, к личности. То есть слава это — «О!», называют мою фамилию, все оглядываются, с любопытством начинают ко мне присматриваться. А успех — это то, что непосредственно относится к работе, к произведению, к изобретению, к роли, которую артист исполняет. Слава — принадлежность имени. Слава защищает, но в то же время делает жизнь опаснее. Обычно считают, слава — это минутная шумиха, не надо гнаться за славой, это что-то временное…

Мелихов: Суетное.

Гранин: Успех ближе к удаче — у тебя получилось, и это очень важно. Успех — это еще когда я сам знаю, что у меня получилось, и мне не обязательно общественное признание. Слава — это больше общественное явление.

Мелихов: Я понял вас так, что успех — это достижение реального результата, а слава — уже признание этого результата, очень часто вызванное какими-то побочными обстоятельствами, мало связанными с реальными достижениями. У Житинского в его прекрасной повести «Снюсь» есть такое выражение: «Я

усомнился, бывает ли громкая слава заслуженной». Конечно, когда повзрослеешь, уже не хочется, чтоб тебя узнавали на улице. Когда хвалят без понимания или даже восторгаются, уже испытываешь не удовольствие, а смущение, желание поскорее закончить разговор. Бывает, что такие похвалы лишь обостряют чувство одиночества. Но это одна крайность. А другая крайность — ты сам чувствуешь, что результат достигнут, но другие этого не признают — ведь это тоже, согласитесь, не очень приятно?

Гранин: Знаете, слава — это сегодня болезнь довольно распространенная, за славой гонятся, тем более что есть возможность как-то легко ее приобрести — с помощью сенсаций, скандалов, с помощью телевизионных дешевых передач…

Мелихов: Шоу, если употребить простое русское слово.

Гранин:…таких, которые не требуют усилий. Слава сегодня потерпела искажение, она пострадала от технологической инфляции, я бы так сказал. Возникла технология получения славы хотя бы на один вечер, хотя бы на одну передачу…

Мелихов: Пятнадцать минут славы, как выражался Энди Уорхол.

Гранин: А что — мне дали полчаса, и уж я тут выложу, я вам поднесу такой кукиш или такую мерзость преподнесу, что вы меня запомните! За счет чего я могу получить славу сегодня? А, вы хотите эротики, порнографии? — ну я вам сейчас выдам; ах, вы хотите кого-то обделать, обгадить? — ну я вам обгажу так, как никто. Появилась возможность использовать радио, телевидение, газету для того, чтобы удивить мир: ты смотри, как он не стесняется, какой он юмористичный! Не важной становится степень правды и честности. Я хочу, чтоб обо мне говорили, я хочу, чтоб мое имя прозвучало любой ценой, — это мерзкая болезнь нынешнего славополучения…

Мелихов: Когда я на свою голову ступил на литературную стезю, я уже был сравнительно солидный человек — кандидат наук, ходил с портфелем, руководил серьезными проектами, — не мальчишка вроде бы. И я прекрасно видел, что и ученые бывают людьми суетными, тщеславными, бывает, что и они раздувают свои достижения, а чужие стараются принизить, — все это я видел. Но когда я попал в литературный мир, я понял, что мир науки населен скромнейшими людьми, что самый тщеславный математик в сравнении с каким-нибудь малоизвестным писателем просто скромняга, застенчивый деревенский парень. Когда видишь, как все говорят хором и никто никого не слушает, и каждый хочет привлечь к себе внимание хотя бы на пятнадцать секунд… Причем это никаких последствий иметь не будет, и все равно хочется славы хотя бы на эти пятнадцать секунд. И я долго

относился к этому с презрением, мне казалось, что это тщеславие ничем не отличается от назойливости какого-нибудь зануды, который два часа будет тебя изводить, как он любит тушеную морковку: надо ее сначала на медленном огне обжарить, а потом на быстром огне дожарить, а потом бросить два перчика… Но постепенно я понял, что желание производить впечатление на себе подобных едва ли не главное, что отличает человека от животного. Это желание порождает — да, глупейшее тщеславие, глупейшие выходки, но оно же порождает стремление оставить след в истории. Подозреваю, что, сражаясь за пятнадцать секунд славы, писатели бессознательно борются за бессмертие. А цель литературы, тайная цель писателя — продлить жизнь тому, что ему дорого. Теперь мне кажется, что истинный успех писателя — это обретение бессмертия. Брюсов, сверхтщеславный человек, говорил прямо: «Я хочу прожить так, чтобы во всемирной истории литературы обо мне остались две строчки». Он понимал, что он не будет Шекспиром, о нем не будут писаться целые библиотеки, но две строчки — чтобы остались. И мне кажется, что мечта об этих самых двух строчках — желание вовсе уже не жалкое и презренное, а, может быть, самое что ни на есть возвышенное — достичь посмертного существования. Причем не только себе, а прежде всего тому, что тебе дорого.

Что вы на это скажете?

Гранин: Лауреат Нобелевской премии, физик Гинзбург Виталий Лазаревич сделал работу, которая получила признание спустя 30 лет. Сейчас можно считать, что он получил удовлетворение, о котором он не думал, потому что это и есть подлинное отношение к науке, понимаете, человеку интересно сделать свое дело, а быстрота признания, степень признания, это не имеет прямого отношения к чувству внутреннего удовлетворения. Или, допустим, Перельман, который отказался от премии, — он отвергнул не только деньги, но какой-то кусок славы.

Мелихов: Слава от этого только выросла.

Гранин: Он об этом не думал. Отвергнул, отодвинул кусок славы, потому что для него, насколько я понимаю, было гораздо более важным удовлетворением и ценностью найти решение, и вы, как математик, должны это понимать.

Мелихов: Конечно.

Гранин: Испытываешь короткое, но глубокое удовлетворение, когда решил это уравнение, решил эту задачу, она решена, и ты уже не думаешь, о последствиях не думаешь, решаешь следующую задачу. Имеет ли это отношение к славе? Не знаю. Есть чувство собственного удовлетворения, оно — это самопризнание, ты в

своих глазах вырос, заслужил лавровый венок. Твоя правота, твоя удача, твой успех — это самая высокая ценность.

Мелихов: Согласен, высокая самооценка — огромная, и, может быть, одна из важнейших наших радостей.

Гранин: Да. И тебе уже остальное не важно.

Мелихов: А вот давайте…

Гранин: Минутку-минутку, чтоб не упустить мысль. А вот, допустим, кинорежиссер, — его успех состоит из рецензий, из аплодисментов во время сеанса, из количества зрителей, но участвует ли в этом «Ты сам свой высший суд, взыскательный художник»? Условно говоря, я не хочу, чтобы сам я судил, — мне достаточно рецензий, аплодисментов и количества зрителей, это меня полностью удовлетворяет, хотя на самом деле этот гамбургский счет, который я сам скрываю от себя и прячу как можно глубже иногда, этот гамбургский счет мне не должен давать покоя. Не знаю, это я непонятно уже говорю.

Мелихов: Нет, вы говорите очень понятно и верно, и половина истины, несомненно, в ваших словах есть. Но давайте обратимся к другой половине. Конечно, в своих глазах я вырастаю, когда мне удается решить трудную задачу, важную задачу. Но почему мне известно, что эта задача трудная и важная? Только потому, что ее не решили многие другие, или потому, что ее назначил мировой проблемой какой-то Великий авторитет? Все математики мечтают решить проблему Гильберта — с ней ты сразу входишь в историю науки. Так что, стараясь вырасти в своих глазах, ты непременно хочешь войти на равных в какой-то престижный коллектив. Которого в реальности, может быть, и нет, но в твоем воображении он есть. Ты хочешь стать рядом с Гильбертом, стать рядом с Пуанкаре. Да, Перельман выказал презрение к суду коллег, но суд-то самого Пуанкаре был для него еще как важен! Взялся же он за проблему, которую не какой-нибудь Сидоров поставил, а за проблему, которую сам гениальный Пуанкаре не сумел решить. Человек всегда служит каким-то воображаемым целям. Даже тогда, когда мы презираем суд толпы и стремимся к вечному, на самом деле мы все равно с кем-то состязаемся, только не с теми, кто рядом, а с какими-то «вечными» образами.

Гранин: Никакого противоречия тут нет. Мы состязаемся с проблемой.

Мелихов: Да, но проблемой по возможности авторитетной.

Гранин: Не обязательно ее поставил кто-то. Она могла существовать, ну, как в природе. Проблема Тунгусского метеорита, проблема радиации, проблема молний — они существуют безымянно.

Мелихов: Верно. Но все равно это великие проблемы, и все

твои коллеги знают, что, разгадав загадку грозы, ты станешь великим человеком, обеспечишь себе бессмертие.

Гранин: Ну и что?

Мелихов: Я считаю, что мечта о бессмертии — самый высокий из помыслов человека.

Гранин: Нет, это не мечта о бессмертии, он не думал о бессмертии, а для него важно было решить задачу, интересную задачу. Ферми спросили: «Как не стыдно вам было заниматься атомной бомбой?»

Мелихов: «Это прекрасная физика».

Гранин: Да, «такая интересная физика», — он ответил. Это ведь не состязание с кем-то, а задача интересная, я ее решил, и все.

Мелихов: Но решение задачи всегда зарождается в каком-то коллективе, и этот коллектив мечтает ее решить, а ты стремишься в этом коллективе занять успешное место… Это тоже очень важный стимул. Давайте вернемся к Ферми, раз уж мы о нем заговорили. Ферми пришло в голову (не ему первому) использовать вместо альфа-частиц, отторгаемых положительно заряженными ядрами, электрически нейтральные нейтроны, к тому же «медленные». Ферми и его группа принялись лихорадочно облучать всю таблицу Менделеева и открыли ряд новых радиоактивных изотопов. И когда наконец дошли до номера 92, до урана, случилось страшное.

Ферми показалось, что облучение урана привело к привычному появлению соседних элементов с номерами 93 и 94. Он уже патриотически окрестил их авсонием и гесперием — от древних имен Италии и Апеннинского полуострова. Однако Ган и Штрассман вскоре обнаружили среди продуктов распада барий. Это означало, что уран раскалывается на приблизительно равные части и что сам Ферми упустил шанс сделаться тем Колумбом, который первым осуществил расщепление атомного ядра. И Ферми не мог себе этого простить до конца дней. Казалось бы, какая разница, задача все равно была решена…

Гранин: Но имеет ли это прямое отношение к славе, как вы думаете?

Мелихов: Конечно, ведь Колумбами стали Ган и Штрассман.

Гранин: Или это имеет место досада на свою глупость?

Мелихов: Конечно, досада на глупость, но и на проигрыш тоже. Ферми даже в теннис не любил проигрывать.

Гранин: Все-таки есть разница, погоня за славой или досада на свою глупость.

Мелихов: Тогда скажите, а был ли случай, чтобы человек сделал открытие действительно из чистой любознательности, но

потом его не опубликовал?

Гранин: Да. Кевендиш.

Мелихов: Единственный случай на всю историю науки. Других мы не знаем. Ну хорошо, значит, вы не желаете признать, что человеком движет тяга к бессмертию.

Гранин: Нет, тут мы расходимся. Но мы должны расходиться?

Мелихов: Должны, раз уж не получается прийти к согласию. Двинемся дальше. Мне кажется, даже в хорошей литературе есть что-то вроде академического направления, — скажем, Толстой или Пруст, — и есть что-то вроде эстрадного — литературы более легкой, даже блестящей, как, скажем, Воннегут, но более доступной многим, без усилий воспринимаемой. Так вот, в ваше время, когда вы вступали на литературный путь, был ли соблазн эстрадной славы?

Гранин: Думаю, да. Это существовало всегда в разной степени. Был, допустим, писатель Кожевников, редактор журнала «Знамя», он написал «Щит и меч» — громадный роман, шпионский роман. Ну и что? Это принесло ему и славу, и деньги, и все прочее. Но он сам понимал, я уверен, что, в общем, это не серьезная литература. Булгаков положил в стол свой роман. Почему он не пошел на сделки? Это ведь тоже был вопрос для него очень важный, при тех еще контактах, которые у него были, допустим, с тем же Сталиным, соблазны были колоссальные.

Мелихов: Но отчасти-то он поддался, с «Батумом».

Гранин: Отчасти поддался, но я думаю, что поддался лишь отчасти, это «отчасти» просвечивало.

Мелихов: В своих путевых очерках вы пишете, что очень приятной чертой Паустовского была способность к самоиронии. Но возможна ли в писателе искренняя самоирония? Обычно мы ее имитируем, чтобы первыми посмеяться над собой и других лишить этого оружия. Но разве может писатель иронически относиться к своему творчеству на самом деле? Мне кажется, в глубине души все писатели очень серьезно относятся к своему творчеству. Даже ироники.

Гранин: Не знаю, не знаю, не уверен. Я вспоминаю письмо Чехова издателю Суворину, где он пишет: «Меня от силы будут читать еще лет восемь, не больше».

Мелихов: Семь лет или семь с половиной, как он Бунину сказал.

Гранин: Да. От силы.

Мелихов: Но это же не ирония, а грусть. Под маской иронии.

Гранин: Я не знаю, тут трудно установить границу, но это довольно скептическое отношение к себе.

Мелихов: Скептическое, но не ироническое.

Гранин: Саша, я не берусь установить четкую границу, может быть, при этом он улыбался. Я не знаю, не знаю, как он писал Суворину, но во всяком случае я считаю это самоиронией, и это мне очень симпатично, даже если это не полностью самоирония, а просто критическое отношение к себе.

Мелихов: Думаю, скорее последнее. Мне кажется, если ты иронически относишься к тому, что пишешь, ты не станешь писателем.

Гранин: Не к тому, что пишешь, а к ценности того, что написал. Это разница.

Мелихов: Но все-таки год сидеть над романом и думать, что он имеет небольшую ценность, — тогда и стимул пропадет…

Гранин: А почему? Книгу написал не бог весть, но пока писал, выкладывался. А потом прошел год — прочитал, — боже мой, да что же это такое?.. У меня бывали такие случаи.

Мелихов: Да бывает, конечно, такое, всегда бывает. Но покуда пишешь, нужна энергия заблуждения.

Гранин: Но и потом надо, в общем, знать свое место.

Мелихов: Наверно, так. Да только откуда мы можем знать свое место по-настоящему? Чехов, как видим, не знал. А многие наши малоодаренные коллеги ничуть не сомневаются в своей гениальности.

Гранин: Да, но все-таки: «Ты сам свой высший суд, взыскательный художник». И этот суд происходит. Мы иногда притворяемся, врем, но этот суд происходит. Я никогда не могу считать, что я классик или что я написал великую вещь. Ну не могу, и не хочу, мне легче и приятней думать: да, что мог, то сделал, что-то получилось, что-то не получилось… Такое отношение меня устраивает.

Мелихов: Здорово. То есть вы для себя бессмертия не хотите?

Гранин: Бессмертия?

Мелихов: Да.

Гранин: Не получается, Саша. Я хочу, но не получается.

Мелихов: Все-таки достижение без признания грустная вещь… Я всегда воспринимал судьбу Менделя, который открыл законы наследственности, но не был признан, как трагедию.

Гранин: Так таких много случаев. Попов — радио.

Мелихов: И это тоже обидно. Но все-таки Попов признание коллег обрел, он не получил только Нобелевскую премию. Хотя и это обидно. Булгакова приводила в отчаяние каждая зарубленная пьеса, хотя пьесы его теперь идут с огромным успехом. Тоже достижения без признания.

Гранин: Вот это вопрос, между прочим. Может быть, он верил, что признание будет.

Мелихов: Это и давало ему силы — надежда на посмертное признание, я об этом и говорю.

Гранин: Ну, значит, это было не отчаяние, а, наоборот, уверенность, что ты написал достаточно прочную, хорошую вещь, которая не пропадет.

Мелихов: Все мемуаристы хором пишут, что он приходил в отчаяние, запирался, не выходил на улицу, был почти убит этими неудачами. Не творческими — социальными.

Гранин: Конечно, хочется при жизни. Но все-таки, если хорошая вещь написана, в этом утешение есть какое-то внутреннее.

Мелихов: Когда друзья говорят, что это блестяще, замечательно, а тебя при этом не печатают — все равно обидно, но уже не так. Ницше считал, что между славой и признанием узкого кружка — глубокий овраг, но между признанием кружка и полным одиночеством — пропасть.

Гранин: Я думал, что вы гораздо более злободневные и острые вопросы поставите насчет славы, потому что то, что сейчас происходит… Вот тот же самый Никита Михалков, ну что это такое?

Мелихов: О чем вы конкретно говорите? Никита же несколько очень хороших фильмов поставил — «Пять вечеров», «Урга», «Неоконченная пьеса для механического пианино»…

Гранин: Дело не в этом, а в том, что слава и власть — они связаны.

Мелихов: Вы хотите сказать, стремление к славе — это одна из форм стремления к власти?

Гранин: Или стремление к власти — это стремление к славе.

Мелихов: Это действительно чисто суетный аспект, тут бессмертием и не пахнет. А многие ли сегодняшние художники, по-вашему, стремятся достичь успеха в собственных глазах, как думаете вы, или все-таки завоевать хотя бы крошечное бессмертие, как думаю я? Помните, чего желал Пушкин:

Чтоб обо мне, как верный друг,
Напомнил хоть единый звук.
И чье-нибудь он сердце тронет;
И, сохраненная судьбой,
Быть может, в Лете не потонет
Строфа, слагаемая мной;
Быть может (лестная надежда!),
Укажет будущий невежда
На мой прославленный портрет
И молвит: то-то был поэт!

То есть мнение невежды — это и есть окончательный суд…

Гранин: Нет, у Пушкина мнение поэта решает — если будет жив хоть один пиит, я сохранюсь.

Мелихов: Да, есть и это.

Гранин: Вы знаете, меня привлекает в литературе… Я вам приведу пример — Галкина, Наташа Галкина, которая пишет в свое удовольствие и прозу очень хорошую, и стихи хорошие, и, такое у меня впечатление, получает громадное удовлетворение от этого. Не рвется никуда, нигде не выступает, не видно, не слышно ее бурной деятельности во имя своего имени.

Мелихов: Это правда. Ей достоинство не позволяет заниматься самораскруткой…

Гранин: Я не говорю, что это абсолютный пример, я не имею права так говорить, потому что я никогда с ней на эту тему не разговаривал, но у меня впечатление такого чистейшего отношения к литературе.

Мелихов: Галкина, действительно, пример чистейшего отношения к литературе, она ведет себя на редкость благородно. Но насколько она счастлива при этом, не задевает ли ее, когда гремят те, кто пишет намного хуже?

Гранин: Это уже мы перешагиваем, лезем туда, куда не имеем права. Это вопрос некорректный.

Мелихов: Все глубокие вопросы некорректны, они всегда касаются болезненных сторон.

Гранин: Не знаю, я очень доволен и радуюсь, глядя на ее жизнь, в этом смысле. И я думаю, что она не одна, наверное, что-то похожее существует, я просто мало знаю, но это важно — иметь такие примеры.

Мелихов: Такие примеры действительно очень важны, но вот Пушкин приходил в бешенство, когда превозносили недостойных. Вы помните, у его знакомых однажды оказался в гостях некий помещик, который принялся расхваливать Булгарина. И Пушкин сказал, что только дураки могут хвалить Булгарина, — слово за слово, дело дошло до дуэли, их еле растащили. Все-таки мы хотим, чтобы то, что мы любим, ценилось и другими. Расхождение нашей внутренней оценки и той оценки, которую нам дает социальная среда, не может не мучить человека, даже самого бескорыстного.

Гранин: Все вещи, о которых вы говорите и которые считаются абсолютными, отнюдь не абсолютны. Я недавно прочел критическую статью Льва Николаевича Толстого о «Короле Лире». Безумно интересная статья, очень аргументированная, серьезная

статья, в которой было для меня много убедительного. Я вдруг подумал: все относительно. Толстой не ревновал Шекспира, это слишком примитивно, но «Король Лир» не нравился, для него это была не великая вещь.

Мелихов: Сугубому реалисту не нравилась искусственность, напыщенность. С тем, что это романтический мир, особый шекспировский мир, — с этим он знаться не желает.

Гранин: Да, не великая вещь… То, что мы считаем бесспорным и абсолютным, не всегда так. Я читал несколько статей по поводу «Черного квадрата». Весьма убедительные статьи, критические, иронические и т. д. Я читал критику Леонтьева по поводу Толстого.

Мелихов: Очень хорошая, глубокая статья.

Гранин: Да. Леонтьев не убедил меня, но мне было очень интересно. Это очень важно — иметь такие вещи. Я рад, что в нашей литературе есть такие скептические, иронические суждения. Это к вопросу о славе тоже.

Мелихов: Да, конечно. Но вот заметьте: казалось бы, живет себе Шекспир в каких-то умах, и не трогай ты его, пиши свои великие романы. Однако же этот Шекспир доставал Толстого бог знает сколько лет, пока он не вытерпел и наконец врезал. Что его бесило? Превознесение недостойного. Но позвольте еще один некорректный вопрос. Конечно, это очень хорошо, когда один классик берется разбирать другого и не оставляет камня на камне, — мы от этого делаемся только богаче. Но когда по отношению к нам самим поступают наши коллеги таким же образом — не знаю, как вы, но я удовольствия не испытываю.

Гранин: Потому что вы читаете о себе.

Мелихов: А вы не читаете?

Гранин: Нет.

Мелихов: И давно уже?

Гранин: Давным-давно.

Мелихов: И сколько лет вы уже не читаете?

Гранин: Вы знаете, был такой случай. Я написал одну из самых своих первых повестей «Спор через океан». Она получила сокрушающую критику на пленуме горкома партии. Это было мое первое движение к славе.

Мелихов: Какой это был год?

Гранин: Я думаю, это был 55–54-й. И последствия должны были быть, реагировать должен был Союз. Меня вызвали на секретариат, и там такой был критик Эвентов, который доломал всю эту мою конструкцию, растоптал. Здесь же сидел секретариат, и меня первый секретарь Союза писателей Ленинграда Дементьев спросил: «Ну, что вы думаете по этому поводу? Что вы можете

сказать?» Я встал и сказал: «А ничего не хочу говорить», — что выглядело хамски довольно, и вышел. Я не был членом Союза, я работал инженером, и я положил на все это дело. Но я понял, что никто из них по-настоящему не вчитался в эту вещь и не разглядел, что там все наоборот, что никакого преклонения перед Западом нет. Там даже довольно хороший сюжет был, только написано плохо. Прошел год или полтора, вышел роман «Искатели», бестселлер тогда был, и меня избрали делегатом на Съезд писателей. Второй съезд писателей, я самый молодой, преуспевающий. Приехал, и в гостинице «Москва», где мы остановились, в вестибюле встречаю секретаря обкома, который выступал и долбал меня. А я подхожу к нему — «Здрасте-здрасте». Он говорит: «Ну чего, как поживаешь?» — «Вот, — я говорю, — я делегат съезда, я писатель, у меня роман вышел». Ему надо куда-то идти, но он все-таки спросил: «А какой роман?» Я говорю: «Как „какой роман?“ — „Искатели“, вы читали?» А он говорит: «Я сейчас совсем в другом отделе работаю». И вот этот глупый случай вразумил меня очень хорошо, что все это херня, и притом полная. Если я работаю над романом два-три года, что мне может сказать критик? Читателю — да, но мне вряд ли. Он прочел один раз, полтора, не больше. Почему он должен больше меня понимать и оценивать? Я сам знаю, что у меня плохо, что у меня хорошо. А казенные оценки — они с оглядкой на политику.

Мелихов: Вы же знаете, что добрые люди обязательно донесут, если даже сам не читаешь.

Гранин: Донесут. Но можно это не принимать. А вы принимаете.

Мелихов: Конечно, с годами мне выдубили шкуру намного прочнее, чем раньше. Сейчас я тоже, в общем, научился не заглядывать, как там самоутверждаются за мой счет. Но и полного равнодушия все же не достиг, увы.

Гранин: Критика задевает вас?

Мелихов: Да.

Гранин: И что, беретесь сразу переделывать?

Мелихов: Ну нет, конечно.

Гранин: А когда вы пишете другую вещь, на вас какое-то последействие оказывает?

Мелихов: Разве что обратное. Я же не считаю, что каждый, кто берется меня оценивать, умнее меня. Но если, допустим, на улице какой-то пьяный дурак в тебя чем-то швырнет, все равно неприятно.

Гранин: Пример не работает.

Мелихов: Хорошо, тогда в последний раз вернемся к бессмертию. Я заметил, что, начиная с «Картины» по крайней

мере, а может быть, и раньше, у вас возникла такая линия — желание сохранить уходящую жизнь. Возьмем хотя бы «Ленинградский каталог». Вы посвящаете десятки страниц описанию вещей, которые вовсе не шедевры искусства, а лишь какие-то бытовые предметы, но вы все равно хотите сохранить им посмертное существование. Значит, и вы стараетесь обеспечить посмертное существование тому, что вы любите.

Гранин: Да. А почему? Потому что наше общество отличается отсутствием консерватизма, консерватизм чрезвычайно дорогое и ценное качество общества. У нас нет партии консерваторов, у нас нет идеологии консерватизма. Это напрасно. Потому что мы прожили семьдесят лет Советской власти. И сейчас делаем вид, что ее не было, потому что мы все смешали. Чапаев и Колчак в лучшем случае равноценные фигуры стали, уравновесили их, а в худшем случае Колчак теперь гораздо более герой, чем Чапаев. Это глупо. Это неправильно. Белые и красные — что это такое? Было: кадеты — это плохо, большевики — это хорошо. Теперь большевики — это плохо, а кадеты, эсеры — это хорошо. А что такое эсеры? А кто их знает, что такое эсеры. Правые эсеры, левые эсеры — да провалитесь вы, ничего этого не было. А был Николай II, замечательный, такой, понимаете, милый, и этот трогательный наследник, ну это просто…

Мелихов: Икона.

Гранин: Да. И что? И дальше идет — ну, дальше идет Медведев.

Мелихов: А какой бы вы хотели иметь образ России? Если бы была у нас партия консерваторов, какой бы она должна быть, по-вашему?

Гранин: Саша, нет ни плохой, ни хорошей истории, нету, это глупость. Есть история страны. С ее ошибками, с ее прелестями, — которую надо осмыслить. Россия — это великая история! И если всерьез говорить об этом, то я вам хочу сказать, что история Октябрьской революции, история революции нашей ничуть не меньше, чем история Великой французской революции. Она сыграла громадную роль в истории Европы, в истории всего мира.

Мелихов: Конечно.

Гранин: Громаднейшую роль, которую мы еще не осмыслили и не оценили. Это к вопросу тоже о славе.

Мелихов: Да, безусловно.

Гранин: Поэтому то, что мы живем сегодня, отказавшись от истории семидесяти лет, это стыд и позор. Мы хотим прожить без Истории. Это никому не удавалось, никогда. «Отвяжитесь от нас, все эти белые-красные, мы не хотим этого знать, уйдите от

нас…», — ну что это за позиция, что это такое? 7 ноября — 1612 год — ну что это?

Мелихов: Конечно, выбрасывать семьдесят лет, которые потрясли мир, это глупо, да мир нам этого и не позволит, все всё помнят, что им выгодно. Но вместе с тем, когда мы пишем книгу, все равно один герой невольно оказывается более положительным, другой более отрицательным — так и в истории.

Гранин: Нет, это художественная литература, она за скобками.

Мелихов: Но когда мы пишем историю, мы ее создаем, это же не геология, которая описывает уже существующий мир.

Гранин: Правильно.

Мелихов: И всегда кого-то мы любим больше, а кого-то меньше. А кого-то вообще ненавидим.

Гранин: Но все же не можем вот так все выворачивать наизнанку.

Мелихов: Понимаю. Кто был черный, тот стал белый — это слишком примитивно. А как быть, если два равно привлекательных человека друг друга ненавидят?

Гранин: Нет, Саша, эти игры не проходят.

Мелихов: Так что — нужно историю подавать как трагедию, в которой отрицательных героев нет?

Гранин: И положительных нет.

Мелихов: То есть каждый по-своему могуч, по-своему красив и по-своему ужасен? Шекспир, в общем-то, и дал нам образцы такой истории, где убивают друг друга могучие и красивые, а не сражаются друг с другом уроды и красавцы. Карамзин когда-то писал, что история — это священная книга народов. И в своей священной книге каждый народ легко согласится предстать трагическим — только бы не жалким и презренным. Главный страх человека, а тем более народа — страх ничтожности, для борьбы с этим страхом и нужна слава. Так что никакие темные пятна не оскорбят национальное чувство, если они будут изображаться как величественная трагедия. Но тогда идеологи консервативной партии должны обладать чувством трагического — непривычное свойство для политиков. Им придется идти на выучку к искусству. На этой оптимистической ноте, Даниил Александрович, я вас отпускаю.

Гранин: Спасибо.

Мелихов: Это вам спасибо.

Годовщина

Районное начальство пригласило меня в ресторан на встречу с молодежью и блокадниками по случаю годовщины снятия блокады. Посадили рядом с одним генералом, тоже с Ленинградского фронта. Сидели за столом президиума в зале, такие столы ставят перпендикулярно к остальным столам и ставят на них немного другое угощение. Не только семгу, но еще и осетрину, чуть больше икры и коньяк одной звездочкой больше.

Генерал был из 189-й дивизии, наш сосед справа. Это был генерал-лейтенант, еще не отставной, еще седоусый красавец в мундире, увешанном орденами и медалями. Ордена стоящие, боевые. Я был при пустом пиджаке, нацепил только медаль «За оборону Ленинграда», но мы с генералом быстро разобрались и чокнулись как однополчане. Выступил генерал без микрофона, говорил командным зычным голосом. Я слушал его рассказ с интересом. Сражения с противником там следовали одно за другим. Их попытки взять город наталкивались на стойкую оборону дивизии, ее полки отражали все атаки и сами не давали покоя врагу, нанося немцам большие потери. Генерал и наш батальон включил в свой рассказ. Рассказ его получался для меня о совершенно незнакомой войне, где наш батальон действовал в той же самой местности, в те же месяцы. Там должен бы быть и я, но меня там не было.

Генералу горячо аплодировали и мне тоже, смотрели на меня признательно-благодарно.

— Ну как? — спросил меня генерал.

— Замечательно, — сказал я. — Хорошо сочинили и хорошо исполнили.

Он подтвердил, что его рассказ всегда имеет успех, в других городах еще больше, и поднимает престиж нашего города. Но тут до него дошло мое слово насчет сочинения. Он спросил, что я имел в виду.

— Так ведь не было никаких сражений на нашем участке, да еще ожесточенных.

— А Невский пятачок? — спросил генерал.

— Но это же на другом участке, да и там были сплошные неудачи.

Его дружелюбие стало исчезать. Не мне было делать ему замечание. Кто я такой? Капитан, средний комсостав.

— Ты пойми, голубчик, старые оценки тут не годятся, мы отвлекали войска противника, это и есть выигрыш. А выигрыш это победа.

Он был предельно снисходителен, любезный генерал. А то, что на «ты» и «голубчик», это так у них положено, даже ни один полковник на «вы» ко мне не обращался.

— Хорошо, что вы не мой генерал.

— А то что бы было?

— Поставили бы по команде «смирно» и «шагом марш».

— Генералов не выбирают, я вижу, не любишь ты их.

— Это точно.

— За что так?

Тут я ему процитировал: «Города сдают солдаты, генералы их берут».

— Ловко. Это кто сказал?

— Это Теркин… То есть Твардовский.

— Поэт?.. Обидно… Зря ему позволили.

Мы тихо переговаривались, пока выступал кто-то из блокадников. Потом из зала раздался голос: «Разрешите вопрос, товарищ генерал?» Спрашивала девушка в джинсовом костюме, совсем молоденькая, ее интересовало, почему если так успешно мы воевали, а в течение девятисот дней не могли прорвать блокаду. Она спрашивала без иронии, но зал насторожился и уставился на нас.

Генерал объяснил, что наши действия сковывали противника и наносили ему большие потери.

Все испортил снисходительный тон генерала, девушка покачала головой и обратилась ко мне, согласен ли я с этим.

Чистое ее открытое лицо заставило меня сказать, что я думаю несколько иначе. Мне не хотелось пускаться в полемику с генералом, хотелось как-то быть заодно, но не получилось. Я сказал, что, к сожалению, наши генералы и маршалы действовали плохо. И Кулик, и Мерецков не могли прорвать кольцо блокады, а изнутри мы тоже уперлись в этот Пятачок, ни одной талантливой операции не было, все в лоб, в лоб…

После торжественной части генерал отвел меня в сторону, отчитал: не мне судить о действиях командующих. Что мне известно, если я просидел в окопах, в землянке, с таким кругозором рассуждать можно лишь о своих солдатах. Солдатская жизнь, это далеко не все, у вас предубеждение к генералам.

Я согласно кивал.

— Что вы знаете о нашей работе?

— Откуда мне было знать, если я за всю войну видел генерала два раза, и вспоминать о них не хочется. А что генералы могли знать о том, как мы спим, не раздеваясь по три недели? Ни бани, ни вошебойки. Они ни разу к нам в землянку не заглядывали. Не жрали у себя в штабах кашу с осколками и шрапнелью, не знали зимы, когда не согреться и не подтереться. В своих гребаных штабах понятия не имели, как мы хороним друг друга, сбрасывая в траншеи, в мелкие, копать глубже сил не было,

а по весне — в воду…

Почему они так относились к нам, да и относятся до сих пор? Потому что этого добра им всегда хватает. Завтра сибиряков пришлют, уральцев, казахов. Экономить надо боеприпасы.

* * *

Читая письма А. А. Любищева, наслаждаясь их литературным блеском, полемическими приемами и неожиданностью, я как-то подумал — а каковы письма к Любищеву, письма, на которые он отвечает, с которыми спорит. Оказалось, что многие адресаты вполне достойны его. Ну, если не многие, то все же имеются такие, как бы под стать, и было чрезвычайно интересно увидеть не одного Любищева, в поведении с противником. Такова, например, его переписка с Павлом Григорьевичем Светловым. В ней фигура Светлова предстает весьма значительной, под стать Любищеву, несмотря на разницу их взглядов, и специальностей, и занятий. Они верные, близкие друзья и неустанные спорщики. Они выступали передо мною как борцы одной весовой категории. Обнаруживалось, что и Светлов не уступал часто в философской глубине, в диалектике и научной мысли. Более того, он и в литературе мог соответствовать.

Вот он пишет замечания на работу Любищева о пьесах Л. Толстого «Живой труп» и «Фальшивый купон» — довольно объемистая работа — страниц на 80, одна из тех любищевских работ, которые всегда поначалу кажутся побочными, неглавными…

«…Однако сел читать и прочел одним духом всю рукопись. Оказалось — по названию этой вещи никак нельзя догадаться о ее содержании… Было время, когда я тебя упрекал за отсутствие „стройности“ плана в твоих вещах. Но, во-первых, по многим твоим вещам этот упрек, а во-вторых, как я теперь понял, в данном случае мы имеем дело с жанром, в котором многочисленности рассматриваемых проблем предусмотрены замыслом вещи…» Далее, слегка удивившись, каким образом Любищев вместил в это сочинение критику дарвинизма и оправдание ламаркизма «в истинном его смысле, а также для значения науки в настоящем и в будущем», Светлов переходит к конкретным замечаниям:

«1) Ты признаешь отлучение Л. Толстого от Церкви формально правильным. С этим нельзя согласиться. Во-первых, этот вопрос вообще формальной постановке не подлежит; его можно решать только по существу. Существо же его в нелепости

отлучения великого человека, мировоззрение которого в основном построено на Евангелии. Конечно, Толстого нельзя считать Христианином (и сам он не считал себя таковым). Но все-таки он был ближе к Церкви, чем миллионы ее членов-материалистов. Отлучение Толстого было прежде всего делом **злости** правящих кругов глубоко павшей Церкви, за его высказывания, в которых было немало правды, коловшей им глаза. Этим актом Церковь отлучила от себя очень и очень многих христиан.

2) Значение Толстого как автора теории непротивления, для взглядов Ганди преувеличено. Ганди отчетливо пишет, что учение о непротивлении восприняты им еще в ранней юности из „Махабхараты“ и других древних книг…

5) С последним абзацем работы, посвященным общей оценке Толстого, я совершенно не могу согласиться. Все моральные его идеи, проведенные им в последние 10–15 лет его жизни, выражены с гораздо большей (неимоверной) силой в более ранних его произведениях. Вершиной же его творчества в отношении художественной и идейной силы я считаю повесть „Хаджи-Мурат“, в ней сконцентрирован весь Л. Толстой».

Не следует думать, что тот же Светлов в письмах лишь оценивает, подмечает ошибку и критикует и т. п. Переписка их полна взаимного участия, интереса, сообщения о своих делах и делах институтских, есть в ней и та любовь и ободрение, которые так нужны в процессе создания чего-либо, и особенно нуждался в таком поощрении, признании А. А. Любищев, были в письмах к нему строки, которые, очевидно, помогали ему сохранять удивительную его жизнестойкость.

Вот такие, например:

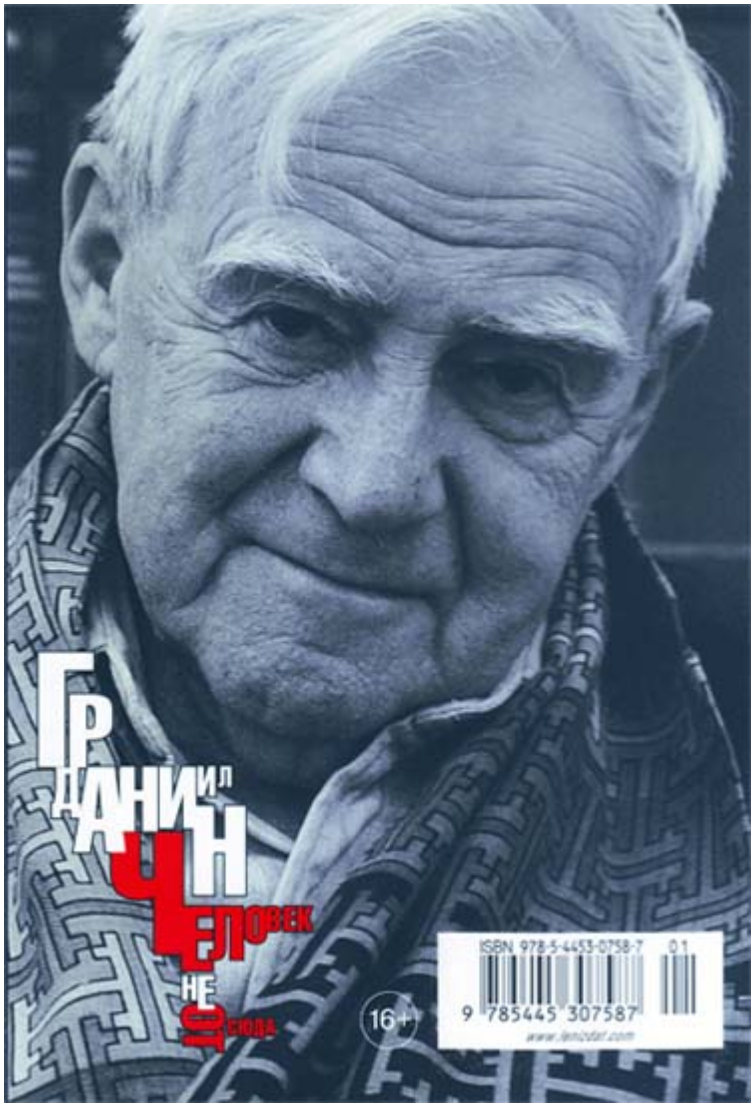
«Интересно, у кого бы кроме тебя хватило сил, чтобы в течение более чем 50-и лет неутомимо пробивать глухую стену, окружавшую твое творчество и изолировавшую тебя от нормальных средств публикования научной продукции (а в еще большей мере — публицистической). У кого бы не опустились руки? Кто бы не переключился на более легкую стезю? Исполать тебе!»

(Светлов — Любищеву 30.3. 1970)

* * *

Вечером после заседания, где ему попало, он сел на трамвай и поехал до кольца, до Сосновки, там прошел по старому парку

мимо стадиона, к обрыву, туда, куда они ходили гулять с покойной женой. Здесь кончался город, начинались поля. Было видно далеко. Ветер нес запахи молодой травы, теплой земли. Когда-то здесь он сказал, что любит ее, и сделал ей предложение. С тех пор они много ездили, уезжали в Сибирь, в Германию, приезжали, меняли квартиры, — все сменилось в его жизни, а здесь осталось так, как было: и обрыв, и сосны, и бетонные надолбы, забытое наследие блокады. В небе происходил закат. Песчаный обрыв был освещен в упор, ярко-желтый, он озолотил и сосны, и проселок с канавами, и эти старые выщербленные надолбы. В небе догорали остатки солнца. Облака то рдели, то покрывались сиреневым золотом, неказистый этот пейзаж засиял, нарядился, краски бежали, переливались, и с каждой минутой сияние нарастало. Оно должно было вот-вот сникнуть, он это знал, его не удержишь, знал, что и в памяти такую красоту не удержать, и это мешало ему наслаждаться. Но все же он купался в золоте, ощущал его.


ГРАНИН
ЧЕЛОВЕК
НЕ ОПЕНДА
16+
ISBN 978-5-4453-0758-7
9 785445 307587

notes

Примечания

1

В «Поиске» появился ряд статей, по сути дела, «религиозной пропаганды». Оказалось, что это оплаченные немцами статьи (редакция пошла на это в силу финансовых затруднений). Мои публикации в «Поиске» — ответ на эту пропаганду религии.